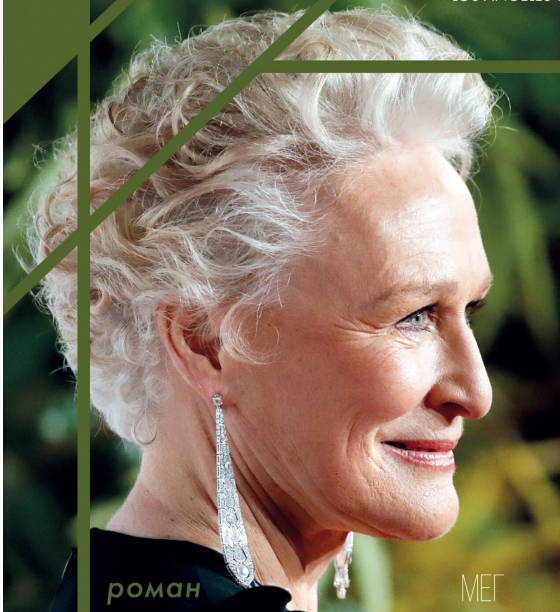


«История не только о браке, построенном на компромиссах,
но и о самопознании женщины»
— LOS ANGELES TIMES



роман

МЕГ
ВУЛИЦЕР

ЖЕНА

ЭКРАНИЗАЦИЯ 2017 ГОДА

(ГЛЕНН КЛОУЗ В ГЛАВНОЙ РОЛИ, НОМИНАЦИЯ НА «ОСКАР»,
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС», «САТЕЛЛАЙТ», ГИЛЬДИИ АКТЕРОВ, «НЕЗАВИСИМЫЙ ДУХ»)

Мег Вулицер

Жена

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67368375

Жена:

ISBN 978-5-907428-41-6

Аннотация

Что делать, если всю жизнь тебя воспринимают как тень твоего гениального мужа? Да, он писатель с мировой известностью, лауреат престижных литературных премий. Но и ты наделена даром слова и умеешь писать. Это история долгого и бурного брака, но одновременно страстная исповедь жены писателя, рисующая ту эпоху, когда мужчины, в отличие от женщин, делали головокружительные карьеры в литературе. Но так ли все было однозначно? Что, если у семьи есть своя писательская тайна?

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	50
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Мег Вулицер

Жена

Посвящается Айлин Янг

Meg Wolitzer

The Wife

This edition published by arrangement with Wolitzer, Meg, c/o William Morris Endeavor Entertainment, LLC and Andrew Nurnberg Literary Agency.

Copyright © 2003 by Meg Wolitzer

© Юлия Змеева, перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство Лайвбук», оформление, 2022

Глава первая

В миг, когда я решила уйти от него, в миг, когда подумала – *с меня хватит*, мы находились в десяти тысячах метров над океаном и двигались с бешеной скоростью, хотя, казалось, стояли на месте и сохраняли спокойствие. *Вот и с нашим браком то же самое*, могла бы сказать я тогда, но зачем было все портить? Мы сидели в роскошном салоне первого класса, вроде бы огражденные от всех тревог; здесь не было турбулентности, сияло ясное небо, и где-то среди нас наверняка прятался маршал авиации в скучном обличье обычного пассажира; он угощался маслянистым арахисом или читал рассказ о зомби-апокалипсисе в бортовом журнале. Напитки подали еще до взлета, мы оба крепко выпили и теперь сидели с приоткрытыми ртами, откинув головы на спинки кресел. По проходу с корзинками сновали стюардессы в форме – отряд повзрослевших Красных Шапочек, чью сексуальность нарочно выставили напоказ.

– Печенья, мистер Каслман? – спросила темноволосая стюардесса и склонилась над ним с щипцами; ее грудь чуть не выпрыгнула из выреза, потом качнулась назад. Я увидела, как в нем приходит в действие древний механизм возбуждения, тихо гудящий, как точилка для ножей. За эти десятки лет я тысячу раз была свидетелем того, как это происходило. – Миссис Каслман? – обратилась ко мне стюардесса,

словно в последний момент вспомнив о моем существовании. Но я не взяла печенье. Мне оно было не нужно, как и все остальное.

Мы летели к концу нашего брака, к тому моменту, когда я наконец решила выдернуть вилку из розетки и уйти от мужа, с которым прожила много лет. Наш путь лежал в Хельсинки, столицу Финляндии – страны, о которой никто никогда не вспоминает, кроме случаев, когда слушают Сибелиуса, лежат на горячих влажных досках в сауне или едят оленину. Нам раздали печенье, разлили напитки; другие пассажиры уже повернули под удобным углом экраны для просмотра кино. Никто в этом самолете сейчас не думал о смерти, в отличие от момента взлета, когда все мы переживали общую травму и страшились рева, запаха горючего и далекого визгливого хора фурий, запертых в моторах самолета. Тогда целый самолет, все наши сознания – экономический класс, бизнес-класс и избранное меньшинство – объединились в одно и взмолились, чтобы самолет оторвался от земли, как зрители ждут, что фокусник согнет ложку усилием мысли.

Эта ложка, разумеется, сгибалась каждый раз, и черпак ее клонился к земле, как слишком тяжелая головка тюльпана. Самолеты, правда, взлетали не каждый раз, но именно этот, сегодняшней, взлетел. Матери раздали детям раскраски и маленькие пакетики сырных колечек с порошковым осадком на дне; бизнесмены открыли ноутбуки и подожда-

ли, пока загрузятся медлительные экраны. Если придуманный мной маршал и присутствовал на борту, он поел, потянулся и поправил пистолет под наэлектризованным квадратиком синтетического самолетного пледа. Наш самолет поднялся в воздух и завис на нужной высоте, и в этот момент я наконец решила, что уйду от мужа. Теперь я не сомневалась. Ни капли. Была стопроцентно уверена. Наши трое детей давно от нас уехали, и я знала, что ни за что не передумаю и не струшу.

Он вдруг посмотрел на меня, посмотрел пристально и спросил:

– Что с тобой? Ты какая-то... странная.

– Нет. Ничего, – ответила я. – Так, ерунда. – Он удовлетворился таким ответом и вернулся к своей тарелке печенья с шоколадной крошкой; слегка рыгнул, и щеки его на миг раздулись, как у жабы. Его ничто не могло встревожить; у него было все, что человеку нужно.

Джозеф Каслман принадлежал к тому типу мужчин, которые, по их мнению, являются в этом мире хозяевами. Вы наверняка понимаете, каких мужчин я имею в виду, они в рекламе не нуждаются – ходят по Земле, эдакие исполины-лунатики, и на своем пути сметают других мужчин, женщин, мебель, целые деревни. Им нет дела ни до чего. Весь мир они считают своей собственностью: моря и горы, дрожащие вулканы, прозрачные журчащие реки. Существует много разновидностей этого типа. Джо принадлежал к литературной –

писатель, нервный коротышка с обвисшим пузом, который почти никогда не спал и любил мягкие плесневые сыры, виски и вино; это способствовало усвоению таблеток против тромбоза. Без таблеток липиды в его крови застыли бы, как вчерашний жир на сковородке. Чувство юмора у него было самое обычное, не лучше и не хуже, чем у других; он не имел понятия, как заботиться о себе и окружающих, а своей иконой стиля считал Дилана Томаса и на него же ориентировался в вопросах личной гигиены и этикета ¹.

Сейчас он сидел рядом со мной на рейсе 702 авиакомпании «Финнэйр» и брал все, что предлагала ему темноволосая стюардесса: печенье, копченый арахис, мягкие одноразовые тапочки и влажное горячее полотенце, свернутое плотно, как свиток Торы. Случись этой соблазнительной разносчице печенья обнажиться до пояса и предложить одну из своих грудей, сунув сосок ему в рот с уверенностью консультанта по грудному вскармливанию, он бы взял его ничтоже сумняшеся, не задавая вопросов.

Мужчины, считающие себя хозяевами этого мира, как правило, гиперсексуальны, хотя предметом их эротических притязаний не обязательно становятся жены. В 1960-е мы с Джо не вылезали из постели, иногда даже умудрялись забаррикадировать дверь в хозяйскую спальню, заскучав на вече-

¹ Дилан Томас – британский поэт, прозаик, драматург и публицист; в жизни был инфантильным модником, славился своим алкоголизмом, беспечностью и в целом аморальным образом жизни. – *Здесь и далее примеч. пер.*

ринке, и заваливались на гору пальто. В дверь стучали, просили отдать вещи, а мы смеялись, шикали друг на друга и поспешно застегивали молнии и заправляли рубашки, прежде чем открыть дверь.

Мы давно уже не занимались сексом, но если бы вы увидели нас в этом самолете, выполняющем рейс в Финляндию, мы показались бы вам вполне счастливой парой, супругами, что по ночам по-прежнему прикасаются к вялым интимным частям друг друга.

– Тебе нужна еще одна подушка? – спросил он.

– Нет. Терпеть не могу эти кукольные подушечки, – ответила я. – Да, и не забудь сделать растяжку для ног, как велел доктор Кренц.

Если бы вы взглянули на нас – на Джоан и Джо Каслман из Уэзермилла, Нью-Йорк, места 3А и 3В – то сразу бы поняли, зачем мы едем в Финляндию. Возможно, вы бы даже нам позавидовали – Джо из-за власти, от которой его грузное старое тело буквально распирало; мне – из-за круглосуточного к ней доступа, как будто для жены знаменитого талантливого писателя ее муж – супермаркет шаговой доступности, место, куда можно заглянуть в любой момент за большой порцией блистательного интеллекта, остроумия и интересного общения.

Нас обычно считали «хорошей парой», и, наверное, когда-то, давным-давно, когда на шероховатых стенах пещеры Ласко появились первые наскальные росписи, а Земля еще

не была поделена на государства и будущее представлялось радужным, это действительно было так. Но очень скоро от счастливого самовлюбленного существования, что ведут все молодые супруги, мы перешли к заросшему зеленой ряской болоту, что деликатно именуют «степенным возрастом». Хотя мне шестьдесят четыре года и для мужчин я невидима, как комок пыли в углу, раньше я была стройной грудастой блондинкой и отличалась некоторой застенчивостью, отчего Джо тянуло ко мне, как кролика на свет фар.

Я не обольщаюсь; Джо всегда влекло к женщинам – к женщинам самым разным; они манили его с того самого момента, как в тысяча девятьсот тридцатом году он появился на свет из аэродинамической трубы родового канала своей матери. Лорна Каслман, свекровь, с которой я так ни разу и не встретилась, была толстой сентиментальной собственницей и любила сына, как любовника, не допуская мысли о том, что в его жизни может быть кто-то другой. (Впрочем, есть мужчины типажа Джо, которых в детстве игнорировали, и в обеденный перерыв, пока все уминали заготовленные мамами бутерброды, они сидели в унылом школьном дворе голодными.)

Лорна была не единственной, кто души в нем не чаял; обожали его и две ее сестры, что жили с ними в бруклинской квартире, и бабушка Мимс, женщина с телосложением табуретки, оставшаяся в истории лишь благодаря своей «отменной грудишке». Отец Джо, Мартин, вечно вздыхающий

непримечательный человек, умер от инфаркта прямо в своей обувной лавке, когда Джо было семь лет, оставив его заложником в этом странном женском царстве.

История о том, как Джо сообщили о смерти отца, хорошо характеризует его семейство. Он пришел из школы, увидел, что дверь не заперта, и спокойно вошел. В квартире никого не оказалось, что было странно – сколько Джо себя помнил, в доме всегда находилась женщина, хотя бы одна, которая, сторбившись, хлопотала, как проворный эльф. Джо сел за стол на кухне и съел полдник – яичный бисквит; он ел его отрешенно, как делают все дети, когда едят сладкое, и на губах и подбородке осталась россыпь крошек.

Вскоре дверь распахнулась, и в квартиру набились женщины; они причитали, нарочито громко сморкались, а потом зашли на кухню и столпились вокруг стола. Лица у них были красные, глаза тоже, а аккуратные прически растрепались. Случилось что-то ужасное, понял он, и внутри забурлило предчувствие, сперва почти приятное, хотя вскоре этому предстояло измениться.

Лорна Каслман опустилась на колени у его стула, как будто хотела сделать ему предложение.

– Мужайся, мой малыш, – хриплым шепотом промолвила она и коснулась пальцем его губ, собирая крошки, – теперь мы остались вдвоем.

Она не соврала – они действительно остались вдвоем, женщина и мальчик. Он теперь был совсем один в мире,

целиком населенном женщинами. Тетка Лоис страдала ипохондрией и проводила дни в компании медицинской энциклопедии – сидела и разглядывала красивые названия болезней. Тетка Вив была нимфоманкой и вечно провоцировала его, оборачивалась и показывала свою белую голую спину в разинutom рте незастегнутой молнии. Заправляла парадом бабуля Мимс, маленькая древняя старушка: она распоряжалась на кухне и с торжеством короля Артура, достающего из камня Экскалибур, вытягивала из жаркого кулинарный термометр.

Джо бродил по квартире, как выживший после кораблекрушения, которого даже не помнил, и искал других таких же выживших и потерявших память. Но не находил; кроме него, не выжил никто. Всеобщий любимчик, которому рано или поздно предстояло вырасти и стать одним из «этих предателей», наодеколоненной крысой. Лорну предал муж, имевший наглость рано умереть и даже не предупредить ее об этом; тетку Лоис – ее собственная бесчувственность: она никогда ничего не испытывала ни к одному мужчине, кроме Кларка Гейбла, которого любила на расстоянии за широкие плечи и торчащие уши, представляя, как удобно, должно быть, хвататься за них во время секса. Мужчинам, предавшим тетку Вив, не было числа – эти вальяжные, сексуальные, легкомысленные проходимцы названивали им в квартиру днем и ночью и писали тетке письма из-за границы, куда направили их полки.

Джо жил в окружении женщин, испытывавших к мужчинам настоящую ненависть; при этом его уверяли, что на него эта ненависть не распространяется. Его они любили. Он, собственно, и мужчиной-то пока не был – маленький ясноглазый мальчик с темными девичьими кудряшками, чьи гениталии пока еще напоминали марципановые фрукты. Он рано научился читать, а после смерти отца вдруг перестал спать по ночам. Часами он лежал, свернувшись калачиком, и пытался думать о чем-то приятном – например, о бейсболе или ярких манящих страницах комиксов. Но в мыслях всегда возникал отец, Мартин; тот стоял на пышном облаке в раю и печально протягивал ему коробку с двухцветными кожаными туфлями.

Наконец около полуночи Джо бросал сражаться с бессонницей, вставал, шел в темную гостиную и там играл сам с собой в бабки на плетеном коврикe. Днем он сидел на том же коврикe у ног своей матери и теток, а те скидывали «лодочки» и рассказывали повторяющиеся истории о своей несчастной судьбе. Сидя там и слушая их, он понимал, что заправляет этим курятником и так будет всегда, хотя никто не говорил ему об этом прямо.

Когда, к своему огромному облегчению, он наконец покинул курятник, он был очень хорошо подкован. Теперь он много знал о женщинах: их вздохах, нижнем белье, ежемесячных мучениях, розовых спиральках бигуди, о том, как стареют их тела – за последним он имел возможность наблю-

дать во всех безжалостных подробностях. Он знал, что все это уготовано ему, если он однажды полюбит женщину. Он будет вынужден наблюдать, как она меняется и совершает переход из одного состояния в другое, как со временем увядает, и никак не сможет этому помешать. Та, что желанна сейчас, однажды станет лишь подавальщицей грудинки. Поэтому он решил забыть обо всем, что знал, притвориться, что ничего этого никогда не существовало в его маленькой идеальной головке, и, покинув свою женскую труппу, сел в скрипучий поезд, везущий пассажиров второсортных пригородов в волнующую суету единственного пригорода, который мог считаться первосортным: Стейтен-Айленд.

Насчет Стейтен-Айленда я, конечно, пошутила.

Манхэттен, 1948 год. Джо в клубах пара поднимается из подземки и заходит в ворота Колумбийского университета, где встречается с другими умными и одухотворенными юношами. Решив учиться на факультете английского языка и литературы, он устраивается на работу в студенческий литературный журнал и тут же публикует в нем собственный рассказ о старухе, вспоминающей свою жизнь в российской деревне (картофель, изъеденный личинками, обмороженные пальцы и все такое прочее). *Убогий рассказ, курам на смех*, позже скажут критики, начав рыться в сундуках и искать его незрелые работы. Но некоторые все же будут настаивать, что уже тогда в них чувствовалась *безудержность* прозы Джо Каслмана. Он дрожит от волнения, новая жизнь ему нравит-

ся, походы в «Лин Палас» в Чайнатауне с друзьями кружат голову; он впервые пробует креветки в соусе из черных бобов – впервые пробует креветки в принципе, ведь ни одно ракообразное прежде не попадало Джо Каслману в рот.

Вскоре в этот рот попадет также язык его первой женщины, и он лишится девственности быстро и резко, как удаляют зуб. В роли зубного выступит энергичная, но слишком прилипчивая девушка по имени Бонни Лэмп, студентка колледжа Барнард, где, по сообщению самого Джо и его друзей, ей вручили почетную стипендию по нимфомании. Джо очарован кареглазой Бонни Лэмп и волшебством полового акта. Постепенно он становится очарован и сам собой. Почему бы и нет? Ведь все остальные его любят.

Занимаясь любовью с Бонни, входя в нее и медленно выходя, он с упоением слушает тихие ритмичные *щелчки*, издаваемые сочленяющимися частями их тел. Словно где-то вдалеке секретарша цокает каблучками по линолеуму. Его также завораживают другие звуки, которые издает Бонни Лэмп. Во сне она мяукает, как котенок, и он смотрит на нее со странной смесью нежности и снисхождения, представляя, что ей снится клубок шерсти и миска молока.

Клубок шерсти, миска молока и ты, проносится у него в голове. Он любит слова и любит женщин. Его завораживают их податливые тела, все их выпуклости и изгибы. Не в меньшей степени завораживает его собственное тело, и когда его сосед по комнате отлучается по делам, Джо снимает зеркало

с гвоздика на стене и долго себя разглядывает: грудь с беспорядочно растущими темными волосами, туловище, пенис, неожиданно крупный для такого невысокого и худощавого мужчины.

Он представляет свое обрезание, случившееся давным-давно, вспоминает, как барахтался в руках странного бородатого дядьки; толстый мизинец окунался в кошерное вино, и он охотно сосал его, пытаясь учуять вкус жидкости, которой на пальце совсем не осталось. Он чувствовал лишь шероховатый кончик пальца, в котором не было потайного отверстия с булавочную головку, откуда текло молоко. Но теперь его воображение рисует другую картину: что сладкое вино все-таки стекло ему в горло и он опьянел; гордые лица вокруг расплылись, превратились в кашу, его восьмилетние глаза закрылись, потом открылись, снова закрылись, и восемнадцать лет спустя он проснулся взрослым мужчиной.

Время не стоит на месте; Джо Каслман остается в магистратуре Колумбийского университета, и в этот период окружающая обстановка меняется. Речь не о простой смене времен года и постоянно растущих повсюду новостройках, затянутых канвой строительных лесов. Не о собраниях социалистической партии, которые Джо посещает, хотя ненавидит присоединяться к группам и не выносит мысли о том, что он – часть группы, даже объединенной общим делом, в которое он верит; на этих собраниях он сидит по-турецки на пропахших плесенью коврах, сидит с серьезным ви-

дом и просто слушает, впитывает информацию, ничего от себя не добавляя. Речь и не о пульсирующем ритме богемной жизни начала 1950-х, который приводит его в темные и тесные джазовые клубы, где он мгновенно проникается любовью к марихуане – впоследствии эта любовь сохранится на всю жизнь. Скорее, речь о том, что мир постепенно открывается ему, как раковина, а он заходит в эту раковину, опасно касаясь ее гладких внутренних изгибов и купаясь в ее серебристом сиянии.

За время нашего брака я иногда замечала, что Джо словно не осознает своей власти, и в эти моменты он нравился мне больше всего. К среднему возрасту он растолстел, начал ходить вразвалочку и одеваться проще. Он носил бежевый свитер крупной вязки, который не скрадывал живот, а поддерживал его, как колыбелька, и тот покачивался при ходьбе, когда Джо входил в гостиные, рестораны, лекционные залы и магазин «Шуйлерс» в Уэзермилле, Нью-Йорк, где Джо закупался зефирными снежками «Хостес» – розовыми зефирками в кокосовой стружке, сплошная химия, ничего натурального – к которым он питал необъяснимую тягу.

Представьте себе Джо Каслмана в супермаркете в субботу вечером; он покупает новый пакетик любимых сладостей и добродушно треплет по загривку старого магазинного пса с большими суставами.

– Добрый вечер, Джо, – говорит ему сам Шуйлер, хозяин магазина, сухощавый старик со слезящимися глазами цвета

дельфтского фарфора. – Как работа?

– Тржусь не покладая рук, Шуйлер, не покладая рук, – тяжело вздыхая, отвечает Джо, – но что с меня взять.

Прибедняться Джо всегда умел. Все пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые и первую половину девяностых он усердно изображал ранимость и страдания, причем независимо от того, пил или не пил, любили ли его критики или отвергали, хорошо или плохо отзывались о его романах. Но с чего ему было страдать? В отличие от своего старого друга, знаменитого писателя Льва Бреснера, пережившего Холокост и в мельчайших подробностях описавшего свое детство, проведенное в заключении в концлагере, Джо некого было винить в своих несчастьях. А вот Льву с его бездонными блестящими глазами впору было вручать Нобелевскую премию по несчастью, а не по литературе. (Хотя я всегда восхищалась Львом Бреснером, его романы, как мне казалось, немного не дотягивали. Но признаться в этом вслух, скажем, друзьям за столом было все равно что встать и заявить: «Люблю сосать члены у маленьких мальчиков».) Именно тема его романов, а не исполнение, заставляла вздрагивать, трепетать и бояться перевернуть страницу.

Для Льва страдание было естественным состоянием; давным-давно, когда мы с Джо еще регулярно принимали гостей, Лев и его жена Тоша приезжали к нам на выходные, и он ложился на диван в гостиной, прикладывая лед к голове, а я велела детям вести себя тихо, и те уносили свои шумные

игрушки, кукол, говоривших «я люблю тебя», и маленького деревянного спаниеля, который гремел, когда его везли на веревочке.

– Льву нужна тишина, – говорила я. – Идите наверх, девочки. Ты тоже, Дэвид. – У лестницы дети останавливались и стояли неподвижно, как замороженные. – Идите, – подгоняла их я, и наконец они неохотно поднимались.

– Спасибо, Джоан, – отвечал Лев своим печальным голосом. – Я устал.

Он жаловался на усталость, и ему разрешали лежать. Льву Бреснеру разрешали все.

Но Джо не мог жаловаться на усталость; с чего ему было уставать? В отличие от Льва, Холокост обошел его стороной; он легко отделался, играя в пасьянс с матерью и тетками в бруклинской квартире, пока Гитлер маршировал по другому континенту. А во время войны в Корее Джо случайно выстрелил себе в ногу из винтовки М-1 в учебке, десять дней провел в лазарете, соскребая корочку с пудинга из тапиоки, где медсестры подбегали по первому его зову, ну а потом его отправили домой.

Выходило, что войну в своих несчастьях он винить не мог, поэтому винил во всем мать, женщину, с которой я никогда не встречалась, но хорошо ее знала по описаниям Джо.

Например, я знала, что Лорна Каслман, в отличие от своих сестер и матери, была толстой. В детстве рядом с толстой матерью чувствуешь себя в безопасности, даже гордишься

этим в какой-то степени. Краснеешь от гордости, что твоя мама больше всех остальных знакомых мам, и с надменным отворачиванием думаешь о матерях друзей, этих креветках, с которыми даже обняться не хочется.

В случае с Джо это чувство перенеслось также на отца. Он считал, что отец должен быть фигурой как можно более крупной и сильной, широкоплечим великаном, который берет тебя с собой в контору, или в мастерскую, или туда, где коротает унылые дни, занимаясь мужской работой; он подкидывает тебя в воздух и разрешает своим сослуживицам тебя тискать, угощать заваливающимися в карманах карамельками, обычно самыми невкусными – ананасовыми. Отец должен казаться сильнее всех на свете, а блестящую, стремительно увеличивающуюся лысину на голове или кряхтение, с которым он уминает жареную печенку, можно и не замечать. Он может быть немногословным и замкнутым, но все равно должен быть сильным, как тягловая лошадь; когда струя его мочи попадает в унитаз, вода в нем сотрясается и ходит волнами, а звук напоминает журчащий ручей, и это дивное журчание разносится по улицам Бруклина.

А вот толстуха-мать внезапно начинает ужасать. Что за женщина способна в одиночку, легко, за каких-то десять минут, не испытывая угрызений совести, управиться с целым шоколадным тортом из кондитерской Эбингера в зеленой коробочке с прозрачными пленочными окошками – и с густым липким кремом, и с пористым темным бисквитом?

Мать, с которой ты раньше гордо вышагивал по кварталу, начинает казаться отталкивающей, а ведь раньше она казалась благородной, всегда напудренной и надушенной, толстой, но благородной – как ходячий диван.

Раньше ты любил ее до беспамятыства и хотел на ней жениться, пытался даже просчитать, осуществимо ли это технически и будешь ли ты достоин ее, если вдруг окажется, что да, осуществимо, если вдруг однажды ты встанешь рядом и наденешь ей на палец обручальное кольцо. Лорна, твоя мать, в платьях в крупный цветок, купленных в магазине «Модная одежда для полных со скидкой» на Флэтбуш, была для тебя всем на свете.

Но потом все изменилось. Тебе вдруг захотелось, чтобы она уменьшилась и состояла бы сплошь из куриных косточек. Чтобы похудела до второго размера, стала хрупкой, но красивой. Почему она не может быть похожа на мать Мэнни Гумперта, стильную, с телом миниатюрным и упругим, как у колибри? Почему не может просто *исчезнуть*?

Но она не исчезала еще очень долго. На долгие годы после кончины бедного Мартина Каслмана, который рухнул замертво в своей обувной лавке, сидя на низком обтянутом вином табурете и готовясь примерить на девичью ножку двухцветные кожаные туфли, коробку от которых он держал в руках, Джо остался с матерью и другими женщинами. Она присутствовала в его жизни, пока он не вырос и не встретил свою первую жену Кэрол; лишь тогда, приветствуя гостей на

свадьбе Джо и Кэрол, Лорна исчезла. Внезапный инфаркт, как у мужа; новобрачный Джо разом осиротел и узнал, что унаследовал от обоих родителей больной орган. Смерть матери очень его расстроила, хотя кончина отца, безусловно, травмировала его сильнее.

Однако признаюсь, что когда он рассказывал мне эту историю, в голове первым делом пронеслась ужасная мысль: *какой благодатный материал.*

Я представляла его толстую лоснящуюся мать в хорошем настроении; теток в шикарных платьях с маленькими театральными сумочками, снующих вокруг них официантов с подносами радужного шербета в заиндевевших серебряных вазочках; я даже слышала переливы еврейской скрипки, звучавшие на их с Кэрол свадьбе.

– Одного не понимаю, – спросила я, когда мы только поженились, – зачем ты вообще женился на Кэрол?

– Все тогда женились, – ответил он.

Проблема с Кэрол заключалась в том, что она оказалась чокнутой. По крайней мере, Джо позже решил, что проблема была именно в этом. Чокнутой в смысле душевнобольной, в прямом смысле – потенциальной пациенткой психушки. Когда женщина говорит такое о первой жене мужа, окружающие мужчины согласно кивают и понимают, о чем речь. Все первые жены чокнутые, больные на всю голову, это же естественно. Они корчатся в истериках, ноют, вспыхивают, их вечно корежит, они разлагаются прямо на глазах. По словам

Джо, Кэрол, вероятно, уже была ненормальной, когда они познакомились: случилось это в два часа ночи в пустой кофейне, словно сошедшей с картины Хоппера «Полуночники» – той, где все сидят, сторбившись, за только что протертой стойкой, и вид у каждого посетителя такой, будто он готов поведать вам трагическую историю своей жизни, если вы совершите глупость и согласитесь его выслушать.

Но тогда Джо еще не понял, что Кэрол такая. Он только что вернулся из учебки после случайного ранения в ногу, был свободен и открыт для любых предложений и позволил себе поддаться ее своеобразному обаянию: женщина-ребенок с ровной каштановой челкой и ножками, не достававшими до пола. В своих кукольных ручках она держала толстую книгу: собрание сочинений Симоны Вейль. Собрание сочинений было на французском, на языке оригинала. Это произвело на Джо сильное впечатление, и он стал вспоминать то небольшое, что знал о Вейль – какой-нибудь слух, рассказанный когда-то приятелем, который клялся, что говорит чистую правду.

– А ты знала, что Симона Вейль боялась фруктов? – спросил он эту Кэрол Уэлчак, что сидела рядом с ним на табурете. Та недоверчиво посмотрела на него.

– Ну да, конечно.

– Да нет же, правда, – не унимался Джо. – Богом клянусь. Она боялась фруктов. Это называется «фруктофобия».

Они рассмеялись, и девушка взяла ломтик апельсина, ле-

жавший без дела на тарелке с блинчиками. – Иди сюда, Симона, *ma chérie*, – с французским акцентом произнесла она. – Иди и съешь мой сладкий апельсинчик!

Джо был очарован. Что за девушка! Оказалось, в мире было полно таких девушек, и каждая варилась в своем котле и только и ждала, чтобы проходящий мимо мужчина поднял крышечку, вдохнул аромат и попробовал ее на вкус.

– А что ты здесь делаешь одна, посреди ночи? – спросил он. По другую руку от Джо сидел портовый грузчик и чесал покрытую сыпью шею; Джо отпрянул и попытался подвинуться чуть ближе к девушке, хотя это было невозможно, так как табурет был привинчен к линолеуму.

– Сбежала от соседки по комнате, – ответила Кэрол. – Она арфистка и всю ночь репетирует. Иногда я просыпаюсь до рассвета и думаю, что умерла, а ангелы играют на арфах у моей кровати.

– В этом есть свои плюсы, – ответил Джо. – Ты веришь, что рай существует и тебя туда приняли.

– Я вижу гораздо больше плюсов в том, что меня приняли в колледж Сары Лоуренс.

– О, студентка Сары Лоуренс, – обрадовался он и тут же решил, что она – очень творческая натура, ее пальцы должны быть всегда запачканы акриловыми красками с уроков живописи и амброзией с какого-нибудь загадочного полночного ритуала в честь зимнего солнцестояния. Ему также представилось, что в сексе она должна вести себя, как монголь-

ская акробатка, о которых он читал; делать колесо и с поразительной точностью приземляться прямо на его член – та-да-а-ам!

– Была студенткой, – поправила она. – Я уже закончила колледж. А теперь скажи, незнакомец, что *ты* делаешь здесь один посреди ночи?

Очевидно, она еще не понимала, еще не догадывалась, что мужчины вроде Джо – самоуверенные, влюбленные в белый стих собственных слов и свое размытое отражение в мысках начищенных до блеска ботинок – ходили в безлюдные кофейни посреди ночи просто потому, что могли. В тот конкретный момент во времени – в 1953 году – молодому, амбициозному, уверенному в себе мужчине гулять по ночному Нью-Йорку было просто одним сплошным удовольствием. Казалось, весь город состоял из неоновых вывесок, подсветки мостов и пара из подземки, вылетавшего из вентиляционных решеток тонкими струйками. Страстно целующиеся парочки как будто специально были расставлены под всеми фонарями.

– Что я здесь делаю? – ответил Джо. – У меня бессонница. Я не могу уснуть, встаю и иду на прогулку. Представляю, что весь город – моя квартира. Вот там – моя ванная, – он указал на окно. – А там – шкаф с верхней одеждой.

– А здесь, наверно, кухня, – подсказала Кэрол. – И ты просто зашел налить себе чашку кофе.

– Угадала, – улыбаясь, кивнул Джо, – посмотрим, осталось

ли что-нибудь в холодильнике.

Они долго крутились на табуретах по часовой стрелке и против часовой, и это напоминало незамысловатый брачный танец. Потом достали чековые книжки и расплатились, оба взяли горстку мятных конфет в сахарной пудре, что по какой-то причине лежат в плетеных корзинках у касс всех кофеен мира, как будто все владельцы кофеен однажды собрались и условились, что так должно быть. Он придержал ей дверь, и вместе они вышли на ночную улицу. Джо шел рядом, они сосали конфетки, очищая дыхание перед поцелуем, который неминуемо должен был случиться сегодня, и Кэрол начала получать удовольствие от ночной дикости города, чего никогда бы не произошло, если бы она гуляла одна. Когда она поняла, что значит расслабиться и не волноваться, быть частью огромного живого организма, ее настигла эйфория. Стояла холодная ночь, шпили зданий, казалось, недавно наточили, он держал ее маленькую белую ладошку, и вместе они совершали обход улиц с опущенными ставнями, потому что он относился к тому типу мужчин, что везде чувствуют себя хозяевами, и все это принадлежало ему.

* * *

– Заходим на посадку, – почти извиняющимся тоном объявила темноволосая стюардесса, шагая по нашему проходу. Полет длился уже девять часов, и то свежее радостное пред-

вкушение, что пассажиры ощущали в начале, сменились раздражительностью, беспокойством и помятостью, что неизбежно возникают, когда человек проводит длительное время в замкнутом пространстве. Воздух, некогда казавшийся чистейшим, пропитался миллионами испарений, запахом кукурузных чипсов и влажных полотенец. Помялась одежда; у тех, кто спал на кресле или подложив под голову скомканные пиджаки, появились заломы на щеках. Даже темноволосая стюардесса, прежде казавшаяся Джо такой соблазнительной, теперь напоминала уставшую проститутку, мечтающую поскорее закончить рабочий день на панели. Печенье у нее кончилось, корзинка опустела. Она вернулась на свое место в хвосте самолета, и я увидела, как она пристегивается и брызгает рот освежителем дыхания.

Мы снова остались вдвоем. В нескольких рядах от нас, отделенные шторками, сидели редактор Джо Сильви Блэкер, его агент Ирвин Клэй и два молодых пиарщика. Джо не связывали с ними какие-либо тесные отношения. Они появились в его жизни совсем недавно; его редактор Хэл, с которым он проработал много лет, умер, бывший агент вышел на пенсию, и его передали другим редакторам и другим агентам; те уже успели смениться несколько раз, а люди, что сидели в нашем самолете сейчас, находились там не потому, что Джо был им близок, а потому, что сочли уместным сопровождать его и погреться в лучах его славы. Его друзья и наши родные с нами не поехали; он сказал, что ехать в Фин-

ляндию вовсе необязательно, в этом нет никакого смысла, он скоро вернется домой и все расскажет; разумеется, они его послушали. Самолет начал снижаться сквозь толщу облаков, приближая Джо, меня и остальных пассажиров к маленькому, красивому и незнакомому скандинавскому городу, где стоял конец осени.

– Как ты? – спросила я Джо; тот всегда боялся снижения, этого затишья в конце полета, когда кажется, что двигатели заглохли и самолет просто неуправляемо падает, как детский деревянный планер.

– Все в порядке, Джоан, спасибо, – кивнул он.

Я задала этот вопрос не потому, что искренне за него тревожилась; скорее, сработал супружеский рефлекс. Во всем мире мужа и жены ежедневно и бесцельно спрашивают друг друга: «Как ты?» Это входит в договор; так принято, вопрос этот подразумевает, что тебе не все равно, ты внимателен, хотя на самом деле тебе все это уже давно глубоко и бесповоротно наскучило. Джо казался спокойным, хотя отчасти это могло объясняться недосыпом. Я не помнила, когда в последний раз он нормально спал. Он всегда страдал бессонницей, но каждый год его недуг обострялся; это неизбежно случалось накануне объявления лауреатов Хельсинкской премии по литературе.

Каждый год кто-то из лауреатов решает, что звонок от учредителей премии – розыгрыш; таких историй полно. Есть легендарные случаи, когда писателей будили среди ночи, и

на голову звонящего, говорившего с финским акцентом, изливались потоки ругательств – «вы знаете, который час?» Лишь потом, отряхнувшись ото сна, писатели понимали, что это за звонок, что все это происходит на самом деле и означает, что их жизнь отныне навсегда изменится.

Хельсинкская премия, разумеется, рядом не стояла с Нобелевской; она стояла несколькими ступенями ниже и была чем-то вроде непослушного пасынка Нобелевки; впрочем, год от года ее репутация улучшалась, а все благодаря размеру премии – в этом году лауреатам должны были вручить пятьсот двадцать пять тысяч долларов. Не Нобелевка, конечно, но и Финляндия – не Швеция. И все же получить премию считалось редкой честью и счастьем. Она не возвышала писателей до стокгольмских высот, но приближала к ним хотя бы наполовину.

Авторы романов и рассказов, поэты – все отчаянно желают выиграть какую-нибудь премию. Если есть в мире премия, есть и кто-то, кто жаждет ее получить. Вполне себе взрослые мужчины ходят по дому и строят планы, как выиграть тот или иной конкурс; детские сердца бьются учащенно при мысли о позолоченном кубке за победу в конкурсе по правописанию, соревнованиях по плаванию или просто «за энтузиазм». Может, у иных форм жизни тоже есть свои премии, просто мы о них не знаем: награда лучшему плоскому червя, самой вежливой вороне.

Друзья Джо уже несколько месяцев твердили ему о Хель-

синкской премии.

– В этом году, – сказал его друг Гарри Джеклин, – ты непременно ее получишь. Ты стареешь, Джо. Тебе «пора укоротить бы брюки»². Они не осмелятся тебя проигнорировать; это будет позорное пятно на их репутации.

– Ты хочешь сказать, на *моей* репутации, – ответил Джо.

– Нет, на *их*, – настоял Гарри; сам он был поэтом, что фактически гарантировало ему полную безвестность и безденежье до конца дней. Несмотря на это, он бился за признание, презирая всех, кто занимался одним с ним ремеслом, впрочем, как и все наши знакомые поэты. Казалось, чем меньше кусок пирога, тем сильнее хочется откусить от него побольше.

– Да не выберут они меня, – отмахнулся Джо. – Ты три года подряд сулишь мне победу. Я тебя уже не слушаю, как мальчика, который кричал «волки».

– Им нужно было время, – ответил Гарри. – Я понял их стратегию. Сидят они, значит, в своем Хельсинки, едят копченую рыбу и ждут. А план такой: если к этому году ты не умрешь, премию дадут тебе. Ты политкорректен, а сейчас это очень важно, по крайней мере, для финнов. У тебя есть этот недостающий ген, чувствительность к женщинам. Нежелание объективировать противоположный пол – так, кажется, о тебе говорят? Ты придумываешь героиню, она замужем,

² Цитата из стихотворения Т. С. Элиота «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».

у нее семья, дом в пригороде с большой кроватью, и все же ты не испытываешь необходимость описывать... ну не знаю, ну, например, ее лобковые волосы, только более литературно: «нимб жженой сиены» или нечто подобное, что любит ваша братия.

– Нет у меня никакой «братии», – ответил Джо.

– Ну ты понял, – продолжал Гарри. – Твои книги феминистские, если тебя не корежит от этого слова – мне, когда я его слышу, всегда представляются здоровые короткостриженные тетки с бензопилами. Ты оригинал, Джо! Великий писатель, но не козел. Нет, ты все-таки козел, конечно, процентов на пятьдесят, зато на другие пятьдесят – чисто баба.

– Ха! – ответил Джо. – Как мило с твоей стороны. И как поэтично.

Но и другие приятели Джо согласились с логикой поэта: в этом году сильных претендентов на Хельсинкскую премию, помимо Джо, во всем мире не было. В Америке год выдался урожайным на литературные смерти; известные писатели умирали один за другим. Многих Джо знал еще с пятидесятых; они вместе ходили на собрания социалистической партии. Через десять лет собрались на марафон – ночные литературные чтения, устроенные с целью выступить против войны во Вьетнаме, а также утомить присутствующих зрителей. Следующая встреча состоялась в начале восьмидесятых – тогда все смущенно согласилось сняться в рекламе страшно дорогих часов, производимых старой и почтенной немецкой

часовой фирмой, в свое время поддерживавшей нацистов. Наконец настал день, когда собираться стали лишь на чьи-то похоронах. На заупокойной службе драматурга Дона Лофтинга Джо заметил, что все по-прежнему носят те немецкие часы, что им раздали бесплатно.

Гарри Джеклин был прав: писателей калибра Джо, заслуживающих премию, осталось немного, и мало кто мог похвастаться столь солидным литературным наследием, настоящей мраморной глыбой сильных работ. Лев Бреснер получил Хельсинкскую премию семь лет назад – это никого не удивило, все давно ждали, что он ее получит, – но все равно известие об этом скосило Джо, и он несколько дней лежал в постели в темной комнате, глотал барбитураты и запивал их скотчем. Через три года Льву – о чудо! – вручили и Нобелевку, и Джо по сей день невыносимо об этом говорить.

Нобелевка Джо не светила, мы оба это знали и давно с этим смирились. Хотя в Европе его книги пользовались популярностью, они не прогремели на весь мир как важные, значимые произведения, а для Нобелевки это было необходимым условием. Он был американцем, его проза – интроспективной; на бумаге он исследовал себя. Как верно подметил Гарри, он был политкорректен, и вместе с тем политика его совсем не интересовала. Даже Хельсинкскую премию он заслуживал с натяжкой. Но критикам всегда нравилось, как Джо показывал современный американский брак; он тонко чувствовал особенности женского восприятия и описывал

его так же подробно, как мужское, и, что удивительно, делал это беззлобно и не обвинял женщин во всех грехах. В начале карьеры его романы прогремели в Европе, и там его считали даже более значительным писателем, чем в США. Джо принадлежал к старой послевоенной писательской школе и считался автором «семейных» романов – писал о мужьях и женах, вынужденных сосуществовать в крошечных квартирках или холодных одноэтажных колониальных особняках в пригороде, на улицах с названиями вроде Бетани-корт и Йеллоу-Суоллоу-драйв. Мужья в его книгах были натурами глубокими и депрессивными, женщины – печальными и красивыми, дети – вечно недовольными. Семьи разваливались, их терзали постоянные склоки – все по типичному американскому сценарию. Свою жизнь Джо тоже описывал – и детство, и юношество, и два своих брака.

Его романы перевели на десятки языков; целая полка в его кабинете была уставлена переводными изданиями. Первый его роман, «Грецкий орех», короткий и написанный во времена куда более невинные, рассказывал о женатом профессоре и его лучшей студентке, которые полюбили друг друга; в итоге случилось то, что должно было случиться, и профессор поспешно бросил жену и ребенка, сбежал с новой пассией в Нью-Йорк и женился на ней. Все это – считайте, автобиография, история нашего с Джо знакомства и последующего его расставания с первой женой, Кэрол.

Рядом с этим романом на полке стояли его переводы на

различные языки, озаглавленные, соответственно, *La Noix*, *Die Walnuß*, *La Noce*, *La Nuez* и *Valnot*. Там же стоял роман «Сверхурочные», за который Джо получил Пулитцеровскую премию, тоже на нескольких языках: *Heures Supplémentaires*, *Überstunden*, *Horas Adicionales*, *Overtid*. Пулитцеровская премия восстановила веру Джо в свои силы – я хорошо помню его расплывшуюся от удовольствия физиономию, – но спустя много лет сходит на нет эффект даже от такой сильной дозы признания, а это случилось очень давно.

На обороте «Сверхурочных» была фотография Джо; на ней у него все еще густая копна мягких черных волос, по которой я порой, к своему удивлению, тоскую. Копна давно поредела и побелела, но тогда волосы падали ему на лицо, и я отодвигала их, чтобы видеть глаза. В молодости он был привлекательным, поджарым, как гончая, с жестким впалым животом. Эрекция у него держалась бесконечно, будто его постоянно возбуждала невидимая женская рука (необязательно моя), муза, шептавшая в его горячее ухо «ты прекрасен». Прошло несколько десятков лет с вручения Пулитцеровской премии, хотя с тех пор Джо получал и другие американские награды – награды, приводившие его на званные обеды с куриной грудкой в скучные банкетные залы нью-йоркских отелей, где он забирал свою добычу и произносил речь, а я сидела и молча наблюдала за другими писательскими женами и иногда – за их мужьями. Но сейчас пришло время для премии иного рода – крупной премии. Джо нуждался в энергии,

которую она могла ему дать, в роскошном, жирном куске чистого наслаждения и в сопутствующем экстазе.

Вечером того дня, когда позвонили из Хельсинки, – а мы знали, что нам должны позвонить или не позвонить, – я рано легла спать. Джо, разумеется, бродил по дому. Дом у нас старый, тысяча семьсот девяностого года, но в хорошем состоянии; покрашенный в белый цвет, он стоит за низкой каменной стеной, поросшей пучками мха. Комнат много, и страдающему от бессонницы там есть где разгуляться. Будь я добрее, осталась бы с ним, как в предыдущие годы. Но я устала и жаждала погрузиться в сон так же, как когда-то жаждала, чтобы наши тела соединились. Кроме того, у меня не было ни малейшего желания снова проходить через это. Я слышала, как он скребется внизу, как хомяк, выдвигает ящики на кухне и что-то достает, а потом как будто стучит ложкой об терку для сыра в явной и жалкой попытке меня разбудить.

Я знала все его уловки, знала о нем все, как свойственно жене. Я даже знала, что у него внутри, так как накануне мы побывали у доктора Раффнера и смотрели видеозапись его колоноскопии. Фонарик освещал его самые интимные внутренние органы, и что-то, а это поистине связало нас на всю жизнь. Лишь увидев, как функционирует кишечник твоего мужа, как сернокислый барий струится по этому бесконечному человеческому шлангу, понимаешь, что он навек принадлежит тебе, а ты – ему.

Много лет назад я сидела рядом с невысоким элегантным

кардиологом доктором Викрамом из аристократического индийского рода браминов, и мне довелось увидеть сонограмму сердца Джо – ущербного органа размером с кулак, всегда стремящегося сделать больше, чем то, на что он был способен. Его митральный клапан закрывался лениво, как будто был пьян.

Вот и сегодня я знала, о чем он думает, видела, как в его уме зарождаются мысли и догадки.

– Мне кажется, в этот раз я могу и выиграть, – сказал он за ужином. Мы ели корнуэльских бройлеров: после них на тарелке остается аккуратная горстка крошечных косточек. – Гарри так считает. Луиза тоже.

– Они говорят так каждый год, – ответила я.

– А ты, что ли, даже предположить не можешь, что это возможно, Джоан?

– Не знаю.

– Сколько процентов вероятности, по-твоему?

– Хочешь, чтобы я в процентах определила вероятность, что ты получишь Хельсинкскую премию? – Джо кивнул. На столе стоял пакет молока, и в тот момент мой взгляд упал на него и я промолвила: – Два.

– Думаешь, шанс, что я выиграю Хельсинкскую премию – два процента? – мрачно проговорил он.

– Да.

– Да ну тебя, – выпалил он, а я пожала плечами, сказала «извини» и сообщила, что иду спать.

Теперь я лежала в кровати и знала, что в эту минуту ожидания обладаю огромной властью; знала, что надо встать и пойти к нему, составить ему компанию в бессонную ночь. Но я предпочла лежать без сна, и прошло очень много времени, прежде чем на старой узкой лестнице послышались его шаги. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Жены должны быть источником утешения, они обязаны сыпать его на голову своих мужей горстями свадебного риса. Раньше у меня так хорошо получалось это делать; я утешала и его, и троих наших детей, и по большей части мне даже это нравилось.

Когда Джо переживал, я всегда сидела с ним рядом, и так же – с детьми, когда тем снились дурные сны; сидела даже с нашей дочерью Элис, когда та однажды наелась мескалина и ушла в психоделический трип, где ожили все ее детские плюшевые игрушки и стали над ней издеваться. Она так боялась в ту ночь, цеплялась за меня, как кенгуренок за мамину сумку или совсем маленький ребенок, и повторяла: «Мама, помоги мне! Мама, мама, пожалуйста!»

Мне было невыносимо слышать ее жалобные крики, но, как все матери, я крепко обнимала ее с бешено бьющимся сердцем и каменным лицом, а с уст моих белым шумом слетали бесконечные материнские причитания, и наконец действие психоделика закончилось и Элис уснула.

То же самое я проделывала, когда у нашего сына Дэвида случался очередной взрыв, а за годы их было немало. В шко-

ле он срывался на других детей – нам сказали, что он гениальный ребенок, но имеет проблемы с эмоциональной сферой. В двадцать и тридцать было всякое – драки в барах, на улицах, а однажды он избил свою подругу, бывшую героиную наркоманку, тяжелой буханкой хлеба. Дэвид – наша боль: сейчас ему под сорок, красивый, худощавый мужчина, он мечется между безразличием к жизни и злостью на нее, работает секретарем в нью-йоркской юридической фирме и не питает больше никаких амбиций, надежд на счастье и успех. Но все же он *мой* ребенок; мы с Джо привели его в мир. И когда в моменты раскаяния он приходил ко мне и жаловался на свою никчемность, я, конечно же, возражала, что никакой он ни никчемный, и подтверждением моих слов были не твердые факты, а само мое присутствие, спокойное и уверенное, сама я в ночной рубашке и сопереживание, что легко дается любой матери, которая видит страдания собственного ребенка.

Я всегда была готова прийти на зов – Дэвид и его сестры, Сюзанна и Элис, это знали, а у меня хорошо получалось играть свою роль. Я разговаривала спокойно, а при необходимости гладила их по голове и приносила стаканы с водой.

Сейчас, поздно ночью, бродя по дому в одиночестве, полный тревоги и ожидания Джо тоже хотел, чтобы я погладила его по голове и отодвинула прядь волос с лица, как делала раньше. Он дошел до лестничной площадки и вошел в спальню, лег в кровать и обнял меня, а я притворилась, что

сплю. Инстинктивно я понимала, что он не хочет, чтобы его прикосновение обернулось сексом, но других вариантов добиться от меня общения у него не осталось. Раньше секс всегда казался хорошей идеей, и мы оба его любили; гора пальто на чужих кроватях валилась на пол, губы захватывали сосок, губы захватывали пенис. Иногда потом мы обсуждали, как смешны эти порнографические картинки, как примитивны и уравнивают всех нас, вылепливают из всего человеческого рода один несчастный колобок вожделений, телесных жидкостей и предсказуемых исходов одинаковых потребностей.

Потребности. Они были у нас обоих – и у Джо, и у меня, и обычно мы их не стыдились, хотя однажды, давно, он сказал мне: «Джоан, твоими бедрами можно крокодила расплющить». Так сильно я его схватила, и мне стало стыдно. Женщины не любят, чтобы им указывали на железобетонную крепость их либидо; женщина должна вожделеть незаметно, как и пукать. Мое же либидо долго не уступало сексуальным аппетитам Джо; лишь где-то после сорока я поняла, что секс мне просто больше не интересен, что мое влечение куда-то испарилось, а с ним и счастье в браке, и желание быть женой Джо Каслмана, и ощущение себя его женой.

Но в ту ночь ожидания, хотя мы долгое время даже не прикасались друг к другу – кажется, почти год – Джо внезапно раскопал в себе скрытый запас желания и ностальгии и положил руку мне на грудь, а мой сосок послушно среагировал и сжался плотным узелком.

– Не надо, – сказала я, уже не притворяясь, что сплю.

– Что не надо? – он знал, что.

– Использовать меня как лекарство от бессонницы, – ответила я.

– Я не использую тебя, Джоан, – сказал он, но руку убрал. – Что ты заводишься с пол-оборота? Я просто хотел тебя обнять.

– Ты хотел чем-то себя занять, – сказала я и села на кровати. – Ты сходишь с ума и лезешь на стенку.

– Хорошо, согласен, может, и так, но я не понимаю, почему ты так спокойна, – выпалил он. – Вот-вот мы узнаем, нужен ли я этому миру.

– Ты прекрасно знаешь, что нужен, – ответила я. – Оглянись, видишь, сколько этому доказательств? Что еще тебе надо? Весь мир у твоих ног, Джо. Ты все еще на пике. К тебе все еще прислушиваются.

Но он покачал головой.

– Не-а, – ответил он. – Мне так совсем не кажется.

Я взглянула на него и поняла, что какая-то нежность к нему все-таки у меня сохранилась. На миг она поднялась из глубин, одна завалившаяся крупца. Пусть я на него злилась, пусть ненавидела его и изобретала коварные психологические приемы с целью его наказать, пусть легла спать пораньше, оставив его в одиночестве в огромном старом доме, вопреки инстинктам я ему сочувствовала.

– Ты так жалок, это почти мило, – сказала я.

– «Мило» нравится мне больше, – ответил он.

– О да, – кивнула я, – мне тоже.

Джо положил голову мне на плечо, и на остаток ночи мы уснули. Если бы утром солнце взошло и мы по-прежнему лежали бы рядом, а телефон так и не зазвонил, он бы понял, что прошел еще один год, а Хельсинкская премия по-прежнему ему не досталась и, скорее всего, не достанется уже никогда. Но он бы знал, что все будет в порядке, потому что у него была жена, а жена нужна всем.

Однажды Джо признался, что ему немного жаль женщин, ведь тем достаются мужья. Мужья считают, что помогать – значит давать ответы, логично рассуждать, упрямо применять силу в качестве клеевого пистолета. А некоторые вовсе не пытаются помочь, так как мысли их витают далеко, и они идут по жизни в одиночестве, хоть у них и есть жена. Но жены – о, жены, когда не обижаются, не впадают в меланхолию и не пересчитывают бусины на счетах своих разочарований, заботятся о мужьях деликатно и безо всяких усилий.

В пять тридцать утра я крепко спала, периодически вздыхая и похрюкивая, как обитатель свинофермы, – участь, которой не избежать большинству людей моего возраста. Но Джо лежал и не спал, когда зазвонил телефон.

Позже, рассказывая эту историю друзьям, Джо приукрасил события того вечера и изобразил себя невинно спящим. В идеализированной версии случившегося он крепко спал, и когда зазвонил телефон, сел в кровати, не понимая, где он и

кто он («Что? Что это?»). Рука сама потянулась к телефону и схватила его, опрокинув стакан с водой. Когда он наконец ответил, язык еле ворочался со сна, и речь он, ясное дело, не готовил. Я, лежавшая рядом, якобы ахнула и кинулась к нему обниматься, услышав новость («Ах, Джо, ты столько работал, и вот наконец!»), а потом мы оба заплакали.

Ему пришлось рассказать эту историю именно так, а не иначе; в противном случае могло создаться впечатление, что он слишком уж ждал этого звонка и был уверен, что на этот раз ему позвонят непременно.

Правда же заключалась в том, что Джо потянулся к телефону одним быстрым движением и ничего по пути не опрокидывал. Он уверенно сказал «алло». В трубке слышались помехи, а голоса собеседников долетали с небольшой задержкой.

Звонивший говорил с иностранным акцентом и казался одновременно робким и дружелюбным. Он попросил позвать мистера Каслмана. «Мистера *Йозефа* Каслмана», – уточнил он и сообщил новость. Джо судорожно сглотнул, почувствовал, как грудь его распирает щемящее чувство гордости. Оно его встревожило – так и до сердечного приступа недалеко – и он приложил к сердцу свою плоскую ладонь, приказывая ему не биться так отчаянно.

– Можно моя жена Джоан возьмет параллельный телефон? – спросил он Теуво Халонена, временно исполняющего обязанности президента Финской литературной академии. –

Она тоже должна это услышать.

– Конечно, – ответил финн.

Теперь и я проснулась и сидела на кровати, глядя на Джо безумными глазами; теперь и мое сердце сходило с ума, ад-реналин зашкаливал, и я бросилась по коридору в ночной рубашке и сняла трубку в бывшей комнате Сюзанны.

– Алло, – проговорила я в розовую трубку детского телефона. – Это Джоан Каслман. – Я села на Сюзаннину кровать под книжной полкой со старыми детскими детективами про Нэнси Дрю и Трикси Белден – у нас были все книги серии, в идеальном состоянии.

– Здравствуйте, *Йоан*, то есть миссис Каслман. Ваш муж сказал, вы тоже хотели послушать, – услышала я голос Халонена. – Что ж, спешу сообщить, что вашего мужа выбрали лауреатом премии этого года.

У меня перехватило дыхание.

– Бог ты мой! Вот это да!

– Мистер Каслман – прекрасный писатель, – спокойно продолжал Халонен, – и всецело заслуживает этих почестей. Мы, в свою очередь, рады выбрать его победителем за пронзительную красоту его произведений и их непреходящую значимость в течение многих лет. Его карьера охватывает несколько десятилетий; за это время он значительно вырос как писатель, и нам было приятно за этим наблюдать. Каждый последующий роман становился более зрелым. Лично мне больше всего нравится «Пантомима» – а все потому, что

герои, Луис и Маргарет Стриклер, так похожи на меня и мою жену Пиппу. Они ошибаются и ведут себя, как реальные люди. Имейте в виду, миссис Каслман, – добавил он, – сегодня вам предстоит отбиваться от журналистов.

– Я не кинозвезда, мистер Халонен, – ответил Джо с параллельного телефона. – Я пишу художественную прозу, а в Штатах это уже не котируется. У людей есть заботы поважнее.

– Но Хельсинкская премия по литературе – важная награда, – возразил Халонен. – Конечно, это не Нобелевка, – неизбежно добавил он и смущенно хихикнул, выдав свой комплекс младшего брата, – но пресса все равно активизируется. Увидите. – Он продолжил рассказывать о премии, назвал умопомрачительную сумму, которая полагалась Джо, и сказал, что тому надо будет приехать в Хельсинки. – Разумеется, мы и вас тоже ждем, миссис Каслман, – спохватившись, добавил он. Официальное интервью у нас дома назначили на эту неделю; на следующей должен был зайти фотограф и отснять Джо перед поездкой в Финляндию. – Но я вижу, мы вас разбудили, – продолжил Халонен, – не стану вас больше задерживать, спите дальше. Сегодня с вами свяжется наш младший секретарь. – Халонен наверняка знал, что после звонка из комитета никто уже спать не ложится.

Мы попрощались, как старые друзья, и, когда повесили трубки, я бросилась в спальню и прыгнула на кровать рядом с Джо.

– О боже, это все-таки произошло, – сказала я. – Ты был прав. Ты был прав! Я, кажется, сейчас в обморок упаду или меня стошнит.

– До конца сомневался, окажусь ли прав, – Джо прильнул ко мне. – Это начало новой эры, Джоан.

– Да, эры, когда ты станешь невыносимым, – ответила я.

Он проигнорировал мои слова и ничего не ответил.

– Что мне делать? – наконец спросил он.

– В каком смысле – что тебе делать?

– Что мне сейчас делать? – повторил он растерянно, как ребенок.

– Позвони Льву, – сказала я. – Он расскажет, что он делал. Посоветует, как себя вести, по каждому пункту. По шагам распишет. Но, думаю, тебе надо вести себя, как обычно. Ты же уже получал премии; это то же самое, только премия более престижная.

– Спасибо, Джоан, – тихо сказал он.

– Нет, не надо. Не начинай. Я не вынесу.

– Но надо же что-то сказать, – возразил он.

– Ничего нового ты не скажешь. И прошу, что бы ни случилось, не благодари меня, когда выйдешь на сцену большого зала в Хельсинки или где там состоится эта церемония.

– Но я должен, – сказал он, – все так делают.

– Не хочу быть многострадальной женой, – резко ответила я. – Ты же это понимаешь? Джо, ну представь, как бы ты себя почувствовал на моем месте.

– А мы можем потом об этом поговорить? – спросил он.

– Да, – ответила я, – наверно.

Он крепко поцеловал меня в губы; после сна во рту у обоих было кисло. А потом он повел себя очень странно: медленно поднялся и встал на кровать, пошатываясь, выпрямился и, возвышаясь над спальней, оглядел ее с нового угла. Угол чуть изменился, но комната по-прежнему казалась обычной. Джо Каслман знал, что он особенный, но не настолько особенный, чтобы избежать быта. Быт окружал его со всех сторон, и так было всегда. Но теперь он мог уделять ему меньше внимания; мог разрешить себе существовать в другом мире, в параллельном измерении, где лауреаты крупных премий возлежали в шезлонгах, лакомились фигами в солнечных лучах и не думали ни о чем, кроме себя самих. Однако этому порыву нужно было воспротивиться; нельзя было позволить себе почивать на лаврах. Джо должен был издаваться дальше и продолжать писать, выдавая хорошие романы с прежним постоянством.

– Ты зачем встал? – спросила я, глядя на него.

– Хочу попрыгать на кровати, – ответил он. – Как в детстве.

Я подумала о Дэвиде, Сюзанне и Элис, вспомнила, как взлетали их маленькие фигурки, развевались полы рубашек, как они визжали от радости, взмывая вверх. Почему дети любят прыгать? Может, это бесконечное кувырканье – прыжки на кровати, качели на детской площадке – действительно

приятно? Не то что наше взрослое слепо предопределенное движение по прямой, вперед-назад, вверх-вниз?

– Иди, попрыгай со мной, – сказал он.

– От радости? – не улыбаясь, спросила я.

– Возможно, – ответил Джо, хотя наверняка понимал, что радоваться в этой спальне на рассвете, когда солнце робко заглядывало в окна и освещало наши лица, подчеркивая возрастное сходство между мужчиной и женщиной, вялость и морщины, что возникают независимо от пола, особенно нечему.

– Просто попрыгай, – повторил он.

– Нет, – ответила я, – не хочу.

– Брось, Джоани, давай.

Он давно не называл меня Джоани и понимал, что это действует на меня, как песнь сирены. Так и вышло. Что-то во мне всколыхнулось вопреки всему. Дура я, что опять купилась на его уловки. Что радовалась за него, готова была воспеть его, но я не могла иначе. У меня не сразу получилось, но в конце концов я неустойчиво встала на кровати.

– Все это очень странно, – предупредила я его.

Мы стояли лицом друг к другу и слегка пружинили. Естественно, ни о каком ощущении свободы, как в детстве, не могло быть и речи; мысль о том, что в следующий момент мое тело может оказаться неизвестно где, меня напрягала, и я рефлексивно скрестила руки на груди, чтобы груди не прыгали под рубашкой и не били меня по подбородку. Я протеле-

стиривала матрас, попыталась приспособиться к его пружинистости, определить, как высоко меня подбросит. Несмотря ни на что, было все-таки приятно, хоть мы и делали это так неуверенно; когда мы подпрыгнули, атмосфера слегка переменялась.

Вскоре телефон начал звонить беспрестанно, и все требовали его или спрашивали о нем. Но тут не было ничего нового. Я уже привыкла; Джо давно был знаменит, а слава всегда ведет себя одинаково независимо от ее масштаба и сферы применения; телезвезды с оскалом отбеленных лазером зубов, политики с начесами и запонками или знаменитости типа Джо в неряшливых свитерах и с вечным стаканом виски в толстых пальцах – они ничем друг от друга не отличаются.

Скоро начнутся интервью и поздравления, и жизнь моя станет невыносимой. Со временем я начала это понимать. Я знала, что все это повлияет на меня очень плохо; что во мне разгорится зависть, худшая ее разновидность. Ощущая себя просто женой и больше никем, я буду очень одинока. Он будет торжествовать, распускать хвост и обсуждать свой триумф круглосуточно, раздувшись от восторга и ощущения собственной важности. Скоро на это станет невозможно смотреть. А еще мы скоро окажемся в самолете – этом самом самолете, сейчас; тот будет медленно снижаться сквозь толщу облаков, приближаясь к скандинавскому городку, в котором мы никогда не думали оказаться, и к краху нашей семейной жизни. Но тогда, прыгая на кровати, на миг нам

с Джо показалось, что у нас все хорошо и мы так похожи – смешные старики в мятых пижамах, взлетающие ввысь, чтобы в конце концов снова вернуться на землю.

Глава вторая

Мне неприятно об этом говорить, но когда мы с Джо познакомились, я была его студенткой. В 1956 году мы были типичной парой – Джо, весь такой серьезный, сосредоточенный, в твидовом костюме, и я, маленький попугайчик, порхающий вокруг него кругами. Мне становится стыдно, даже когда я вспомню, как мы одевались, по крайней мере сейчас, с высоты Олимпа прожитых лет: его пиджаки с замшевыми заплатками на локтях, которые, видимо, должны были превратить его из бруклинского еврея в типичного американского школьного учителя; мои длинные юбки в клетку и туфли без каблука, которые я носила, потому что он был маленького роста, а я высокой, и мне не хотелось, чтобы мой рост его отпугнул.

Впрочем, я зря тревожилась; я не могла его отпугнуть, он был очень уверен в себе и настойчив. Он добивался меня, а я отвечала на его ухаживания. То же самое делали сотни других студенток и профессоров по всей стране; их бурные и краткие совокупления были приятны и возмутительно безнравственны, а баланс сил в них – совершенно неравным. Я чувствовала, что, выбрав меня, он оказал мне честь; ощущала я и облегчение, так как наш роман вывел меня из затяжного ступора, в котором в 1956 году пребывали все студентки колледжа Смит, причем не по своей вине. Хотя многие

девушки из моего общежития без умолку трещали, что выйдут замуж сразу после колледжа и купят дома в Олд-Лайме, Коннектикут, и подобных местах (Чэнси Фостер даже решила, какой именно дом она хочет – огромный тюдоровский особняк с прудом и золотыми рыбками в нем, хотя мужа еще не выбрала), мы не были глупышками, пустышками или теми, кто напрочь не замечает происходящего вокруг. В нашем общежитии были и девушки властные, интересовавшиеся политикой, и хотя они нравились мне и я всегда с радостью слушала их пылкие речи за ужином, я не принадлежала к их кругу. Я была умна, имела свое мнение, но робость и мягкость мешали мне его выражать. Я выбрала специально английский язык и литературу, интересовалась также социализмом, хотя в колледже, увитом плетистыми лозами с качельками на крыльце и мягкими булочками на ужин поддерживать интерес к социализму было почти невозможно; здесь все было омыто золотистым сиянием женственности.

Мы, девочки, никогда не находились в гуще событий; в 1956 году нас все еще отгораживали от мира, где происходило что-то важное, мира напыщенных узколобых чиновников из сенатских подкомитетов с большими микрофонами и прилизанными волосами и мужчин в гостиничных номерах с их первостепенными потребностями. Нас хранили для какой-то иной цели, и мы по доброй воле согласились уйти на сохранение на эти четыре года, стать заспиртованными образцами.

Когда той осенью Джо приехал в колледж Смит, он поразился тому, сколько там было девушек; такого с ним не случилось с тех пор, как он жил в Бруклине в своем женском царстве. Но в этот раз, разумеется, все было иначе: эти девушки были юными, они сияли чистотой, были невинны, чрезвычайно восприимчивы и только и ждали, чтобы на них обратили внимание. По сути, он очутился в женской версии мужской тюрьмы, где все заключенные чувствуют, когда на территорию входит женщина. Ее присутствие ощущается физически; мужчины улавливают ее своим собачьим нюхом, и когда она проходит мимо, все, кто находится в камерах, трепещут как один. То же случилось с нами, когда Джо вошел в класс в Сили-холле³ в первый день занятий в сентябре, опоздав на семнадцать минут.

Девушки окружали его со всех сторон, и он легко мог отвлечь кого-нибудь еще от курсовых, хоккея на траве и субботних вечеринок, но он отвлек меня, и я пошла за ним без всякого сопротивления, только меня и видели. Другие девушки были повсюду, щебечущие, такие же доступные, хоть и менее импульсивные, чем я, — они все делали не спеша. Я распахивала дверь в ванную нашего общежития и видела девушку, которая стояла, положив на раковину ногу, окутанную пенным облаком, и вальяжно водила по ней бритвой. Такие девушки ходили по двору общежития стайками, и ка-

³ Назван так в честь Лауренуса Кларка Сили, первого президента колледжа Смит (1837–1924).

залось, по одиночке они просто не могут держать равновесие. Воздух отяжелел от смеси трех самых модных духов; те перемешивались, как различные виды пыльцы, и весь наш студенческий городок напоминал пчелиный бар, где можно отведать разные виды нектара.

Мужчины, к которым мы имели доступ, на самом деле мужчинами не были; теперь я понимаю, что они были чем-то вроде тренировочных манекенов – более мягкой и менее требовательной породой мужчин в сравнении с той, с которой нам в итоге пришлось столкнуться. Они тоже жили в огороженных студенческих городках и выходили из-за ограды лишь в выходные; тогда вся их братия с детскими личиками и толстыми шеями внезапно обрушивалась на город, они выпрыгивали из машин, как солдаты в увольнительной, улавливали запах пыльцы и следовали по оставленной им извилистой дорожке, а затем отводили нас в местные бары, на танцы или в постель.

В девятнадцать лет мне не хотелось иметь ничего общего с этими детьми, с этими недомужчинами. Проведя пару вечеров в их компании, где я пила пенистые тропические коктейли с маленькими зонтиками, ела стейки и картофель в фольге и послушно поддерживала разговор о планах на жизнь после колледжа, слушаниях «Армия против Маккарти»⁴ или

⁴ В разгар «охоты на ведьм» в 1950-е сенатор Маккарти, известный своей борьбой с коммунистами, начал выискивать коммунистов в рядах американских ВВС и допрашивать в этой связи высокопоставленных военных, в том числе героев войны. Это вызвало возмущение, и представители ВВС обвинили Маккарти в

о том, не слишком ли сурово обошелся судья Кауфман с Розенбергами ⁵, этой несчастной парочкой с нездоровым цветом лица (*нет, не слишком*, говорил обычно мой спутник, ударяя кулаком по столу с мрачной, скорбной уверенностью – жестом, скорее всего, перенятым у отца), я поняла – с меня хватит. Не хочу больше коктейлей. Не хочу надевать жемчуга и пушистые кардиганы, не хочу стоять перед зеркалом, сложив губки колечком и намазывая их помадой «Вкус Ксанаду»; не хочу, чтобы в холле общежития меня встречали долговязые мальчишки с выпирающими кадыками. Не хочу, чтобы они лапали меня, чтобы груди вечно выпадали из лифчика на заднем сиденье машин этих долговязых мальчишек, чтобы они касались моих грудей своими мокрыми восторженными щенячьими лицами. Я знала, что если буду продолжать все это делать, рано или поздно начну исчезать, становиться менее значимой, а потом потеряю интерес для всех – для мужчин, для женщин, и когда наконец меня выпустят в мир, я буду ему уже не нужна.

Я всегда боялась быть незаметной и обычной. «Как может жизнь быть только одна?» – в изумлении спросила я мать, когда мне было двенадцать и я сидела в столовой в нашей нью-йоркской квартире после ужина и ела «хворост». Я тихонько похрустывала завитками жареного теста и пыталась

подтасовке фактов. Последовавшие слушания, хоть и не были преданы огласке, послужили причиной конца политической карьеры Маккарти.

⁵ Чету Розенбергов обвинили в шпионаже в пользу СССР и приговорили к смертной казни в 1953 году.

заглянуть в окна других квартир в домах на противоположной стороне Парк-авеню.

Мать, тревожная худощавая женщина, посвятившая свою жизнь комитетам по организации благотворительных вечеров и балов в «Пьере» и «Уолдорфе», была неспособна меня понять, и мои внезапные приступы экзистенциальной тоски вызывали у нее панику.

– Джоан, что ты такое говоришь? – обычно отвечала она и уходила в другую комнату.

Когда я начала учиться в колледже, мне больше всего хотелось производить сильное впечатление, возвышаться над людьми и вызывать трепет; впрочем, это начинало казаться маловероятным, когда я понимала, во что превратилась – в худенькую опрятную девочку из колледжа Смит, которая ничего не знала о мире и не понимала, как узнать больше.

Курс основ литературного мастерства проходил в конце учебного дня по понедельникам и средам. Я слышала, что раньше его вела миссис Димфна Уоррелл; ее стихи о цветах («Веточка фрезии», «Бутоны, что не желал цвести») печатали в журнале Садоводческого журнала Новой Англии, а на уроках она сосала леденцы и одинаково щедро хвалила работы всех студентов: «Какие у вас выразительные обороты!» Но миссис Уоррелл вышла на пенсию и поселилась в доме престарелых в соседнем Чикопи, а о новом учителе никто ничего не знал, кроме его имени, упомянутого в брошюре колле-

джа: мистер Д. Каслман, магистр.

Я записалась на курс не потому, что считала себя талантливой, а потому, что хотела, чтобы это было так, хотя на самом деле никогда не пробовала писать, боясь, что меня назовут посредственностью. Кроме меня, записались еще двенадцать человек; в первый день занятий мы явились в аудиторию в Сили-холле и несколько минут обменивались любезностями; затем с надеждой открыли тетради на чистой странице, после чего наступила встревоженная тишина. Кем бы ни был этот мистер Д. Каслман, магистр, он опаздывал.

Когда же он ворвался в кабинет, опоздав на семнадцать минут, я оказалась совершенно не готова увидеть то, что увидела; да и все мы ждали чего-то другого. На вид ему было лет двадцать пять; худощавый, с взъерошенными черными волосами и ярким румянцем на щеках, красивый, но весь какой-то несуразный, как будто его наспех слепили из отдельных частей. Его учебники были небрежно перевязаны веревочкой, отчего он смахивал на рассеянного школьника. Профессор Каслман слегка прихрамывал, подволакивая одну ногу, прежде чем оторвать ее от пола.

– Простите, – сказал он, щелкнул застежкой портфеля, и его содержимое вывалилось на большой глянцевый стол. Он достал из кармана две горсти грецких орехов в скорлупе. Потом посмотрел на нас и произнес: – Но у меня уважительная причина. Моя жена вчера родила.

Я не сказала ни слова, но другие девушки принялись бор-

мотать поздравления; одна умиленно вздохнула, а другая спросила:

– Мальчик или девочка, профессор?

– Девочка, – ответил он. – Назвали Фэнни. В честь Фэнни Прайс.

– Еврейской звезды водевиля? ⁶

– Нет, Фэнни *Прайс* из «Мэнсфилд-Парка», – тихо поправила я.

– Именно, – кивнул профессор. – Молодец, девушка в голубом.

Он с благодарностью посмотрел на меня, а я потупилась; мне было неловко, что меня выделили. *Девушка в голубом*. Мой комментарий внезапно показался тщеславным, как будто я нарочно хотела привлечь к себе внимание; захотелось вlepить себе пощечину. Но я всегда принадлежала к тем, кто читал книги с карандашом и делал пометки на полях, а потом раздавал эти книги всем попало, понимая, что они никогда ко мне не вернутся; мне просто хотелось, чтобы друзья прочли их и испытали такое же удовольствие. У меня были три издания «Мэнсфилд-Парка»; мне почему-то хотелось, чтобы он знал обо мне этот факт.

Д. Каслман, магистр достал из кармана маленькие серебряные щипцы для колки орехов и взял орех. Стараясь не шуметь, начал раскалывать орехи и грызть их. Почти машинально предложил орехов и нам, но мы покачали головами

⁶ Фэнни Брайс.

и промямлили «спасибо, нет». Несколько минут он просто грыз орехи, потом закрыл глаза и провел рукой по волосам.

– Дело в том, – наконец проговорил он, – что я всегда знал: когда у меня родится ребенок, я назову его – или ее – в честь литературного персонажа. Хочу, чтобы мои дети понимали, как важны книги. И вы должны это понимать, – добавил он. – С возрастом жизнь разъедает человека, как аккумуляторная кислота; все, что раньше нравилось, вдруг ускользает. А если и сохраняется вкус ко всему, что раньше приносило радость, предаваться этим удовольствиям некогда. Понимаете? – Мы не понимали, но с серьезным видом закивали. – Вот я и назвал свою дочку Фэнни, – продолжал он. – И когда вы, девочки, через пару лет превратитесь в автоматы по производству младенцев, надеюсь, вы тоже назовете своих дочек Фэнни, как и я.

Раздались смущенные смешки; мы не знали, что и думать, хотя чувствовали, что он нам нравится. Он ненадолго перестал говорить, расколол еще пару орехов, а затем уже более спокойным голосом стал рассказывать о своих любимых писателях – Диккенсе, Флобере, Толстом, Чехове, Джойсе.

– Джойс – мой идеал, – сказал он. – Перед памятником его гению – «Улиссом» – я преклоняю колени, хотя сердце мое навек принадлежит «Дублинцам». Ничего лучше «Мертвых» написать невозможно.

Затем Каслман сказал, что сейчас прочитает отрывок из «Мертвых», несколько последних абзацев, и достал книгу в

мягкой обложке цвета морской волны. Когда он начал читать вслух, мы перестали теребить карандаши и крутить колечки на пальцах, и даже ленивая послеобеденная зевота разом прошла. Отрывки из этой повести, особенно ближе к концу, потрясали, все присутствующие в аудитории обратились в слух и замолчали. Он читал благоговейным тоном, а закончив, несколько минут рассуждал о смысле смерти несчастного обреченного Майкла Фюрея, который в рассказе Джойса стоял на улице холодной ночью, ожидая свою возлюбленную, замерз и умер.

– Я убить готов за способность написать хотя бы наполовину столь же хороший рассказ. Я не шучу, – сказал профессор. – Ну ладно, ладно, шучу, – он покачал головой. – Но если реально оценивать свои способности, я понимаю, что мне никогда не светит даже приблизиться к уровню Джойса. – Он замолчал, застенчиво отвел взгляд, а потом добавил: – Ну вот, кажется, сейчас самое время признаться, что я сам пытаюсь писать. Написал пару рассказов. Но сейчас, – поспешно спохватился он, – мы должны говорить не обо мне, а о *литературе!* – Последнее слово он произнес насмешливо, лукаво, и оглядел собравшихся. – Как знать, может, однажды кто-то из вас напишет великое произведение. С вами еще не все ясно.

Видимо, он подразумевал, что с ним-то уже все ясно, и ясно, что все плохо. Некоторое время он рассуждал, и самые прилежные девочки из группы конспектировали. Я украдкой

заглянула в тетрадку Сьюзан Уиттл, рыжей девочки в мохеровом свитере, у которой была привычка краснеть по любому поводу. На странице тетради на пружинах та вывела своим каллиграфическим почерком:

Художественная проза = ИСКУССТВО ПЛЮС ЭМОЦИИ! Например, романы Вирджинии Вулф (Вулф?), Джеймса Джойса итд. Важен чистый опыт. Сравнения!!
PS Забрать гирлянды и бочонок для вечеринки СЕГОДНЯ.

За высокими окнами Сили-холла небо постепенно тускнело; внизу какие-то девочки шагали по дорожкам, но я не их замечала; подумаешь, люди гуляют. Я взглянула на профессора Каслмана и увидела перед собой новоиспеченного отца, чьи жена и младенец сейчас лежали в тепле послеродового отделения местной больницы; эмоционального, умного человека, слегка прихрамывающего на одну ногу – скорее всего, ранение с корейской войны, подумала я, а может, последствия перенесенного в детстве полиомиелита.

Я представила десятилетнего профессора Каслмана внутри аппарата Энгстрема ⁷, круглой железной бочки: вот лежит он там, одна голова торчит, а добрая медсестра читает ему «Оливера Твиста». Зрелище было жалкое, и я чуть не расплакалась от сочувствия к бедному мальчику, которого в

⁷ Аппарат искусственной вентиляции легких, изобретенный в 1953 году; одной из основных проблем больных полиомиелитом была дыхательная недостаточность и паралич дыхательных мышц, вследствие чего их помещали в аппарат Энгстрема, также известный как «железные легкие».

своём воображении отчасти уже начала ассоциировать с самим Оливером Твистом. Я вдруг прониклась к профессору Каслману простым человеческим теплом, и не только к нему, а и к его жене и маленькой дочке, трем звездам в хрупком созвездии Каслманов.

Когда занятие закончилось, многие девочки попытались наладить личный контакт с профессором, словно хотели приманить его: «Эй, сюда!» Не думаю, что все они представляли его своим любовником, ведь как-никак он был женат, но сам этот факт делал ситуацию даже более пикантной.

– Пишите о том, что знаете, – посоветовал он, дав нам первое письменное задание.

Тем вечером после ужина (на ужин был пастуший пирог, я хорошо это помню, потому что пыталась описать себя литературно, а в голову не лезло ничего лучше, чем «шпачка картофельного пюре поверх приземистого квадратика мясного фарша») я поднялась под самый потолок Нильсоновской библиотеки. На высоких стальных стеллажах пылились многолетние подшивки научных журналов: «Анналы фитохимии», сентябрь – ноябрь 1922 года; «Международный вестник гематологии», январь – март 1931. Я задумалась, откроет ли кто-нибудь однажды эти журналы или им вечно суждено пылиться на полке, как сказочной двери, что вечно стоит запертой, потому что на нее наложили заклятье.

А что, если я их открою, что, если я покрою поцелуями их хрупкие тонкие страницы и разрушу заклятье? Есть ли

Смысл пытаться что-то сочинить? Что, если никто никогда не прочтет написанное мной, и строки эти так и будут прозябать в нелюбви на холодной полке университетской библиотеки? Я села в кабинку, окинула взглядом забытые корешки, лампочки, висящие в клетушках абажуров, и стала слушать тихий скрип ножек стульев об пол и грохот одинокой библиотекарской тележки, катившейся вдоль стеллажей.

Некоторое время я сидела там и пыталась понять, что знала. Я почти не видела мир; когда мне было пятнадцать, мы с родителями ездили в Рим и Флоренцию, но эта поездка прошла в стенах хороших отелей и за тонированными стеклами туристических автобусов; я видела каменные фонтаны на площадях с такого расстояния, что те казались ненастоящими. Уровень моего опыта и знаний остался прежним, не повысился, не стал выше среднестатистического. Я находилась на том же уровне, что типичные американцы; все мы стояли, сбившись в кучку, запрокинув головы и разинув рты, и тарасились на фрески на потолке. Я подумала, что ни один мужчина еще не видел меня обнаженной, я никогда не была влюблена и даже не ходила на политическое собрание в чьем-нибудь подвале. Я ни разу еще не делала ничего, что могло бы считаться самостоятельным, смелым или дальновидным поступком. В колледже Смит меня окружали одни девушки, и это было то же самое, что находиться в Риме в толпе американских туристов. Эти девушки были привычной средой, такой же привычной, как пастуший пирог.

Я сидела на втором этаже библиотеки; мне было холодно, но это меня не волновало, и наконец я заставила себя взять ручку и написать хоть что-то. Не подвергая себя цензуре, не оценивая свою писанину как слишком банальную, ограниченную и просто плохую, я написала о непроницаемой стене женскости, определявшей всю мою жизнь. Я писала о том, что знала. О трех самых модных духах – «Шанель номер пять», «Белые плечи» и «Джой», от этих запахов нигде было не скрыться. О шестистах девичьих голосах, возносящихся ввысь на конвокации и распевающих «Gaudeamus Igitur».

Дописав, я еще долго сидела в своей кабинке и думала о профессоре Д. Каслмане и о том, как он смотрел на нас, хотя глаза его были закрыты. Я вспомнила его розоватые, почти прозрачные веки; казалось, такие веки неспособны укрыть его от внешнего мира. Может, все писатели так умели: видеть даже с закрытыми глазами.

* * *

На следующей неделе я зашла к нему в рабочие часы и сидела на скамейке в коридоре в почти лихорадочном ожидании. В его кабинете кто-то был; я слышала, как они переговаривались, мужской голос и женский; женщина периодически взвизгивала от смеха, и меня это страшно раздражало. У них что там, вечеринка с коктейлями и канапе на под-

мокшем хлебе? Наконец дверь открылась, и вышла Эбигейл Бреннер, студентка с нашего курса; она прижимала к груди свой рассказ, в котором описывала, как ее бабушка недавно умерла от двусторонней пневмонии. Рассказ был скучным, и с первого занятия она тщетно пыталась его улучшить. Каслман сидел за столом в кабинете; пиджак он снял и остался в одной рубашке и галстуке.

– Здравствуйте, здравствуйте, мисс Эймс, – сказал он, наконец заметив меня.

– Здравствуйте, профессор Каслман, – сказала я и села напротив на деревянный стул. В руках у него был мой новый рассказ, тот, что я оставила в его ящике для корреспонденции на кафедре.

– Что касается вашего рассказа, – он любовно взглянул на страницы в своих руках. На них почти не было пометок, никаких иероглифов красной ручкой. – Я прочел его два раза, – сказал он, – и оба раза пришел к выводу, что рассказ великолепен.

Может, он всем так говорил? Интересно, сказал ли он то же самое Эбигейл Бреннер по поводу ее тупого рассказа про бабушку? Вряд ли. Я не сомневалась: только мой рассказ ему понравился. Я написала его специально для него, желая ему угодить, и, видимо, мне это удалось.

– Спасибо, – тихо пробормотала я, не глядя ему в глаза.

– Вы сейчас совсем не понимаете, о чем я, верно? – спросил он. – Вы понятия не имеете, как вы талантливы. Это мне

в вас и нравится, мисс Эймс; очень трогательная черта. Прошу, никогда не меняйтесь.

Я смущенно кивнула и поняла, что именно такой он и хотел меня видеть: отличающейся от всех, но невинной, и я была совсем не против такой казаться. Может, он даже попал в точку, подумала я.

– Мисс Эймс, мисс Эймс, – с улыбкой проговорил он, – и что мне с вами делать?

Я тоже улыбнулась; моя новая роль начинала мне нравиться.

– В рамочку повесить на стену и любоваться, как говорит моя подруга Лора, – сказала я.

Каслман сложил руки за головой.

– Хм, – протянул он, – может, ваша подруга и права. – Настроение шутить прошло, и мы взялись за работу – сели обсуждать мой рассказ. От профессора пахло грецкими орехами. – «Словно предчувствуя дурное, деревья отклонили свои ветви», – прочел он вслух и поморщился, будто ему попался гнилой орех. – Как-то не очень. Звучит неестественно, вам не кажется? Вы можете писать лучше.

– Да, у меня тоже были сомнения по поводу этой фразы, – призналась я и вдруг поняла, что ничего хуже еще не написал ни один студент за всю историю студенческих заданий.

– Вы заслушались себя, – сказал Каслман. – В колледже со мной тоже такое бывало. Только мне, в отличие от вас, было нечего слушать.

– Что вы, я уверена, вы очень хорошо пишете, – бросилась я его успокаивать.

– Не знаю, хорошо ли я пишу, но я точно не из тех, кому это легко дается, – сказал он. – Я из тех, кто трудится весь день и рассчитывает получить награду за старание. Но запомните, мисс Эймс: в реальной жизни никто не награждает за старание.

В дверь постучали, Каслман отложил мой рассказ и сказал:

– Если засидитесь допоздна и вас начнут терзать сомнения, хорошо ли вы пишете, знайте – один поклонник у вас уже есть.

– Спасибо, – ответила я.

– И избавьтесь, ради бога, от этих деревьев, предчувствующих дурное.

Я рассмеялась, надеясь, что мой смех прозвучал не глупо, встала и забрала у него свой рассказ. Наши руки на миг соприкоснулись – его костяшки дотронулись до моих.

– Заходите! – позвал он, дверь открылась, и вошла Сьюзан Уиттл, та самая рыжая девочка из нашей группы. Я давно обратила внимание, что ее кожа была настолько чувствительной, что на ней мгновенно отражались все реакции. Испугать ее мог любой чих; вот и сейчас на шее расплывалось красное пятно. Я, напротив, была совершенно спокойна, точно мне вкололи лошадиный транквилизатор. Я вышла из кабинета, прошла мимо других кабинетов, где студенты с про-

фессорами серьезно обсуждали задания, мимо доски объявлений с рекламой программ летнего обучения в Риме и Оксфорде, мимо старушки-секретарши кафедры английского и стеклянной банки, где она хранила карамельки.

С этого дня я всегда чувствовала себя спокойно на его занятиях, словно лошадиный транквилизатор оказался пролонгированного действия. Когда Каслман говорил о литературе или писательском мастерстве, я слушала с полным вниманием. Он сидел, рассыпав на столе орехи, колол их щипцами, выковыривал ядра из скорлупы, грыз их и рассказывал.

Однажды он сказал, что на следующей неделе в колледже выступит талантливая писательница, и мы все обязательно должны прийти.

– Говорят, она очень хороша, – заметил он. – Я прочел только первую главу ее романа; она показалась мне слишком мрачной и пугающей, поскольку я знал, что автор – женщина, но так мог написать только очень умный человек, поэтому считаю, вы все обязаны пойти на чтения. Я приду с журналом и буду отмечать, кого нет, так что даже не думайте прогулять. – Некоторые девочки испуганно переглянулись, кажется, поверив в его угрозу.

В среду вечером я пошла в читальный зал Нильсоновской библиотеки послушать Элейн Мозелл. Раньше я никогда не бывала на литературных чтениях. Стулья в зале были расставлены в свободном порядке. Кто-то с кафедры английского коротко представил писательницу – высокую, дородную,

светловолосую, с фиолетовым шарфом на шее – и та взошла на кафедру.

– Отрывок из моего романа «Спящие собаки», – объявила она, и по голосу сразу стало ясно, что она курит и выпивает. Эта хрипотца была мне знакома, и я восхищалась ей; никто из моих подруг ей похвастаться не мог. – Я знаю, большинство из вас роман не читали, – продолжила она, – ведь продано всего полторы тысячи и три экземпляра, несмотря на так называемые «восторженные отзывы». Да и эти полторы тысячи по большей части купили мои родственники на мои же деньги.

Кое-кто в зале робко засмеялся, включая меня. Я не знала, что за книгу она написала, но мне уже хотелось, чтобы та мне понравилась. Почему-то это было для меня важно, и когда она начала читать, я с облегчением поняла, что книга мне действительно нравится. В ней рассказывалось о первом сексуальном опыте девушки на ферме в Айове, и описывая, как новый подсобный рабочий впихивал свой член в героиню, когда они лежали на сеновале среди одобрительно похрюкивающего скота, Элейн Мозелл не стеснялась в выражениях. Сцена описывалась с двух точек зрения: девушки и рабочего. Роман этот ни в коем случае нельзя было назвать бытописательным; он простирался далеко за пределы жизни на ферме и даже содержал довольно подробные факты о кукурузе и соевых бобах; также в нем коротко рассказывалась история Джона Дири и его машиностроительной компании.

Романы современников-мужчин нередко включали гигантский объем дополнительной информации от цен на товары до описания текстур и вкусов. В них говорилось и о море, и о суше, и о разнице между зернами и плевелами. Роман Элейн Мозелл ничем не отличался; ее прокуренный голос произносил слова, среди которых не было случайных, и слушая ее, скучающие зрители пробуждались ото сна. Она закончила через час; ей рукоплескали, и она покраснела от удовольствия, выпила стакан воды, стоявший на кафедре, и на краю остался полукруглый след ее помады.

Потом состоялся небольшой прием; Элейн Мозелл стояла в углу зала с тонкими коврами и старыми красно-коричневыми круглыми лампами рядом с двумя профессорами с кафедры, мужчиной и женщиной; те говорили громко, но громче всех говорила Элейн; когда она смеялась и облегченно вздыхала, ее голос заглушал все остальные. Ее выступление кончилось; больше не надо было стоять перед нами и читать о сексе и системах орошения. Не надо было больше использовать слово «молотилка». Она снова была свободна, и это чувствовалось в ее искрящихся глазах и сильно покрасневшем лице. Она пила виски, и пока другие члены кафедры надирались незаметно, Элейн Мозелл делала это в открытую.

Я стояла с девчонками с курса литературного мастерства; мы глупо тарасились на Мозелл и ее оживленных спутников. Одним из них был профессор Каслман; он пытался боч-

ком пробраться поближе к Элейн и занять место у ее локтя. Она повернулась к нему, они обменялись кратким рукопожатием, он прошептал что-то ей на ухо, она одобрительно засмеялась и шепнула что-то ему в ответ. Я чувствовала себя полной идиоткой, стоя сбоку в кардигане и клетчатой юбке. Юбка была подколото большой золотой булавкой, и мне вдруг захотелось открепить ее и воткнуть себе в глаз.

Я никогда бы не осмелилась к ней подойти, но профессор Каслман увидел меня и подозвал, и вот уже меня знакомили с Элейн Мозелл и называли «весьма перспективной юной писательницей». Мозелл смерила меня взглядом; я не сомневалась, что от нее не укрылось ничего, включая мою дурацкую булавку. «На самом деле я лучше, чем выгляжу», хотелось сказать мне, и я вздрогнула, пожав ее большую горячую руку. Я сказала, что мне очень понравились чтения; захотелось дочитать роман до конца.

– Очень рада, только сначала попробуйте его найти, – ответила она. – Боюсь, за горами мужской литературы о невинности и опыте раскопать его будет не так-то просто. Моя маленькая книжечка где-то там, под этими кучами, на самом дне.

Все вокруг, включая Каслмана, бросились возражать, уверять ее, что это неправда, что ее роман – мощное самостоятельное произведение, и так далее, и так далее.

И вдруг мой профессор сказал:

– Да будет вам, мисс Мозелл, не так все плохо.

– А вам-то откуда знать? – спросила она.

– Что ж, – ответил он, – я, к примеру, знаю немало писательниц, чьим творчеством глубоко восхищаюсь. Например, писательницы южных штатов – это же целый литературный кружок во главе с Фланнери О’Коннор и прочими. Женщины, чьи произведения неразрывно связаны с их малой родиной.

Я заметила, как они смотрели друг на друга, как обменялись тайным кодом, точка-тире, точка-тире – вот она склонила голову; вот он оперся локтем о стену, приняв небрежную позу; оба явно интересовались друг другом, а остальные сотрудники кафедры и студенты молча стояли вокруг, как хористы, поющие партии селян в опере и уходящие вглубь сцены, чтобы два солиста могли спеть свои арии. Она была резкой и неприятной – некогда красивая женщина, с годами растолстевшая и слишком разочарованная в жизни; людей к ней больше не тянуло, но профессор Каслман был ей очарован. Впрочем, возможно, она вызывала у него и отвращение, но вместе с тем притягивала его. Она была талантлива, но таланты ее были странными, слишком *мужскими*; они приводили в недоумение. Она злилась на мир, эта Элейн Мозелл; злилась, потому что ее роман плохо продавался и потому что она понимала, что очень талантлива, но никому до этого нет дела и никогда не будет.

– Слушайте, – проговорила она, – Фланнери О’Коннор гениальна, спору нет, но при всем моем уважении она чудачка,

живет в своих фантазиях, слишком религиозна и чопорна.

– Она важный программный автор, – возразил кто-то из профессоров. – Я каждый год включаю ее произведения в свой курс по гротеску. Она единственная женщина в моем списке; уникам.

– Но у мисс Фланнери О’Коннор есть одно преимущество, которого нет у меня, – продолжила Элейн. – Она с Юга, а значит, у нее есть готовенькая колоритная тема, ведь американский Юг почему-то кажется многим такой экзотикой. – Она замолчала и подождала, пока кто-то из мужчин наполнит ее бокал. – Всем нравится читать о безумном старом Юге, все восхищаются южными писательницами, – продолжала она, – но никто не хотел бы знаться с ними в жизни. Потому что они странные, эта О’Коннор или, скажем, бесполоя Карсон Маккаллерс, похожая на белку. Я же не хочу быть странной. Мне просто хочется, чтобы меня любили. – Она вздохнула глубоко и добавила: – Знаете, мне иногда жаль, что я не лесбиянка, правда жаль.

Собравшиеся тихо запротестовали.

– Вы это несерьезно, – робко произнесла деканша, но Элейн Мозелл не дала ей договорить.

– В каком-то смысле несерьезно, да, – ответила она. – Проблема в том, что я очень люблю мужчин, хотя они того не заслуживают. Но будь я писательницей-лесбиянкой, мне было бы совершенно плевать, что обо мне думает весь мир и думает ли вообще.

Кто-то что-то ответил, они продолжили разговаривать, но постепенно разошлись; становилось поздно, и уборщики с швабрами уже поджидали за дверью, а я стояла, комкая в руках салфетку с логотипом колледжа Смит, и ждала, хотя чего – не знала. Элейн Мозелл это заметила и внезапно взяла меня за руку и оттащила в сторону, в маленький альков – так быстро, что я даже удивиться не успела.

– Говорят, вы талантливы, – сказала она.

– Возможно, – ответила я.

– Не надо, – сказала она. Никто больше ее не слышал; нас окружали лишь мраморные бюсты почтенных давно умерших женщин.

– Не надо чего?

– Не думай, что сможешь привлечь их внимание.

– Чье?

Она взглянула на меня печально и нетерпеливо, как на умственно отсталую. Кретинку с булавкой на юбке.

– Мужчин, чье же еще, – сказала она. – Мужчин, которые пишут рецензии, заведуют издательствами, работают в газетах и журналах; мужчин, которые решают, кого принимать всерьез, кого возводить на пьедестал на всю оставшуюся жизнь. А кого смешать с грязью.

– По-вашему, это заговор? – тихо спросила я.

– Скажу, что так, – и все решат, что я ненормальная и просто завидую, – продолжала Элейн Мозелл. – А это не так. Но да, пусть будет заговор; заговор против женщин с целью за-

глушить их голоса, чтобы мужчины могли продолжать кричать так же *громко*. – На последнем слове она повысила голос.

– Ясно, – неуверенно ответила я.

– Так что не надо, – повторила она. – Займись чем-то другим. Женщины редко пробиваются в литературе. И в основном те, кто пишет рассказы – как будто женщины более приемлемы в миниатюре.

– Может быть, – ответила я, – женщины просто отличаются от мужчин. И в литературе пытаются вести себя иначе.

– Да, – ответила Элейн, – возможно, ты права. Но мужчины с их монументальными полотнами, с их толстыми романами, которые включают в себя все на свете, с их шикарными костюмами и громкими голосами – мужчины всегда получают больше. Они важнее. И знаешь почему? – Она приблизилась и проговорила: – *Потому что они так сказали.*

С этими словами она резко ушла, я вернулась в общежитие и весь вечер чувствовала себя неудобно, тревожно. Вскоре про Элейн Мозелл все забыли; первый тираж ее романа кончился, и допечатывать его не стали; он исчез с полок, стал редкостью, одной из тех заплесневелых никому не известных книг, что люди покупают за двадцать пять центов на домашних распродажах у обочины в Вермонте и ставят на полку в комнате для гостей, но ни одному гостю не приходит в голову их прочитать.

Иногда я вспоминала Элейн Мозелл и думала, что с ней

сталось, ведь после «Спящих собак» романов у нее больше не выходило. Может, она слишком переживала из-за неудачи первой книги, а может, вышла замуж, родила детей, и в ее жизни просто не осталось места для литературы. А может, она стала алкоголичкой или не смогла пристроить рукопись ни в одно издательство; может, «книг в ней больше не осталось», как часто с сожалением говорят о писателях, видимо, представляя писательское воображение в виде большой кладовки, которая может быть набита запасами снеди или пуста, как во время войны.

А может, она умерла. Я так и не узнала; ее роман почил на бескрайнем кладбище нелюбимых книг, и может быть, в безутешном горе она решила похоронить себя вместе с ним.

Как-то раз, примерно через месяц после начала семестра – к тому времени у нас с профессором Каслманом состоялись уже три очных сессии в его кабинете, и каждый раз он очень меня хвалил, – он подозвал меня в конце занятия, и я подошла, захлебываясь от волнения, но стараясь сохранять спокойствие.

– Мисс Эймс, позвольте вас кое о чем спросить, – сказал он. – Давайте прогуляемся и поговорим.

Я кивнула, отметив, что наш обмен любезностями не остался незамеченным для моих однокурсниц. Одна из них, Рошель Дарнтон, чьи рассказы неизбежно заканчивались неожиданным сюжетным поворотом – «как у О’Генри!» – печально вздохнула, надевая пальто и глядя на студентку и

учителя, оставшихся после урока. Она словно понимала, что профессор Каслман никогда не позовет ее с ним прогуляться, никогда не попросит остаться после урока, задержаться, побыть с ним чуть дольше положенного.

Я думала, Каслман сообщит, что хочет номинировать меня на студенческую литературную премию с призовым фондом сто долларов. Или попросит поужинать с ним, пригласит на тайное свидание, как профессор химии – одну девочку из нашего корпуса. Я не знала, о чем пойдет речь – о литературе или любви. Но рядом с таким, как Д. Каслман, любовь к литературе могла быстро превратиться в любовь двух людей. Я понадеялась, что так и будет, но тут же ужаснулась своим мыслям, бредовым и глубоко безнравственным.

Мы прошли уже половину студенческого городка, когда он спросил:

– Мисс Эймс, скажите, свободны ли вы в субботу вечером?

Я ответила, что свободна. Со всех сторон нас окружали спешившие куда-то девочки.

– Хорошо, – ответил он. – Вы не хотите немного подработать и присмотреть за моей дочкой? С тех пор, как Фэнни родилась, мы с женой никуда не ходили.

– Конечно, – ровным голосом ответила я. – Я люблю детей.

Я соврала. Я покраснела от унижения из-за того, что себе напридумывала; правда оказалась совсем другой, но все же

это было лучше, чем ничего, лучше, чем его безразличие. И вот в субботу вечером я отказалась от приглашения на вечеринку с оркестром в Нортроп-Хаусе и ушла под звуки «Нитки жемчуга», льющейся из фонографа на полной громкости, и перебранки мужских голосов поверх граммофонного треска. Я направилась в сторону Элм-стрит, и постепенно атмосфера студенческого городка развеялась, и улица стала похожа на обычный жилой квартал, где жили обычные семьи.

На Бэнкрофт-роуд не оказалось фонарей, улица была темная, и я шла и заглядывала в окна первых этажей, где в гостиных возились наши преподаватели, их жены и дети. Не в этом ли главное открытие взрослой жизни, подумала я — что на самом деле она совсем не такая интересная, не полная безграничных возможностей, а ограниченная и предсказуемая, как детство? Какое разочарование, когда ждешь открытых пространств, воображаешь свободу, а получаешь вот это. А может, думала я, глядя на молодую мать, шагающую по комнате и вдруг наклоняющуюся, чтобы поднять что-то с пола (ботинок? игрушку-пищалку?), эта свобода предназначена только для мужчин. Женщины в 1956 году постоянно натыкались на препятствия и вынуждены были отвоевывать свободу: где можно гулять по ночам, как далеко позволить зайти мужчине, оставшись с ним наедине. Мужчин, казалось, все это не волновало; они свободно гуляли по холодным темным городам и беззвучным пустым улицам; так и рукам своим они позволяли гулять, расстегивали ремни и

брюки и ни разу не подумали про себя: *я должен сейчас же остановиться. Дальше нельзя.*

Попав на Бэнкрофт-роуд, я очутилась в царстве, где все запретили себе заходить слишком далеко. Смит – не Гарвард; престижный колледж, но не колыбель великих научных достижений. Поначалу, оказавшись здесь, мужчины, занимавшие преподавательские посты, чувствовали облегчение и рано или поздно осваивались, но в конце концов их всех настигала жажда большего, желание двигаться вперед, переезжать в большие города, не тратить понапрасну свои докторские степени и тщательно составленные лекции на каких-то девчонок, что слушают внимательно, но при первой же возможности выскочат замуж и нарожают детишек, что неизбежно станет началом долгого процесса забывания.

У Каслманов оказался серый «дом-солонка» – двухэтажный с одноэтажной пристройкой и двускатной крышей; он стоял чуть в глубине за бугристой лужайкой. Дверной звонок отозвался сонным «пинь» в глубине дома. Через миг на пороге показался сам профессор Каслман; за его спиной горела желтая лампочка.

– Замерзли, наверно, – сказал он и впустил меня в дом. На нем была расстегнутая нарядная рубашка, а на шее – незавязанный галстук. – Предупреждаю, у нас беспорядок, – сказал он. От него пахло лосьоном для бритья, а на подбородке я заметила пятнышко крови. Играл саундтрек из «Юга Тихого океана», где-то в глубине дома ритмично плакал ребенок, а

потом женский голос позвал:

– Джо? Джо? Можешь подняться?

Так значит, его зовут Джо, подумала я. Я до сих пор не знала его имени, а предполагать боялась. Спустилась его жена с ребенком на руках. Я подняла голову и посмотрела. Младенец затих, хотя лицо у него по-прежнему было красное. Миссис Каслман не показалась мне красивой; маленькая, измученная женщина лет двадцати пяти с мальчишеской каштановой шевелюрой и бегающими глазками. Что он в ней нашел? Я представила своего профессора в постели с этой замухрышкой. Миссис Каслман очень отличалась от девушек, пасшихся на лужайках колледжа Смит, аки газели, щиплющие травку. Она стояла, сунув одну руку под костюмчик ребенка и проверяя состояние подгузника, и в этот момент показалась мне похожей на кукольника-марионеточника с рукой, скрытой под тряпицей. Младенец был полностью в ее власти, по крайней мере, пока.

– Здравствуйте, – без особого интереса сказала жена Каслмана. – Я Кэрол Каслман. Рада знакомству.

Стоя внизу не застеленной ковром лестницы, я попыталась изобразить бодрость и вежливость, представиться типичной студенткой колледжа Смит с рекламного проспекта. Не хватало только листопада.

– Мне тоже очень приятно, – проговорила я. – Привет, малышка, – бросила я в сторону младенца, – какая прелесть.

– Мы еще ни разу ее с няней не оставляли, – объяснила

миссис Каслман, – но она такая маленькая, не думаю, что это нанесет ей травму, хотя меня учили совсем другому. – Жена профессора пересадила дочь на другую руку и пояснила: – Я учусь на психоаналитика. – И добавила: – Давайте покажу вам дом.

В комнатах действительно царил беспорядок, валялись горы книг и игрушек, абажуры покосились. Но Кэрол Каслман, похоже, было плевать, или она не испытывала необходимости ничего мне объяснять. Ребенок спал в комнате родителей, и меня отвели туда; я поняла, что сейчас окажусь в том самом месте, где Каслман каждую ночь спал с женой. Кровать была застелена, хотя явно в спешке, а рядом стояла белая плетеная люлька. На одном из двух прикроватных столиков лежали грецкие орехи в скорлупе. Джо вышел из ванной и встал в проеме, уже в застегнутой рубашке и завязанном галстуке. Волосы намокли, он их пригладил, чтобы не падали на лицо. Из динамиков лился мечтательный знойный женский голос: *«Я здесь, прекрасный мой остров, давай уплывем...»*

– Кэрол, – сказал он, – закончила экскурсию? Нам пора.

Жена взяла его под руку. В этой позе как с портрета они выглядели приличной и респектабельной молодой парой, готовой к выходу в свет – преподаватель и его жена. Очевидно, между ними существовал какой-то взаимообмен, вот только на чем он основан, я даже представить не могла, ведь он был так красив, а она – вся какая-то съежившаяся, невзрачная.

Я вспомнила своих родителей, отстраненных друг от друга, как два сталактита из одной пещеры; они висели рядом, но никогда не дотрагивались друг до друга на людях – отец в его темных костюмах и с древесным мужественным запахом и мама в платьях с узорами, как на скатерти. Спали родители в отдельных кроватях из темного лакированного дерева, а однажды, выпив лишку на званом приеме, моя осоловевшая от благотворительности мать зашла ко мне в комнату поздно вечером и призналась, что отец с ней недавно «похулиганил по-взрослому». Я поняла, о чем речь, лишь намного позже, хотя даже представить это было страшно: мой здоровяк отец, такой безличный в своих деловых костюмах, хулиганит по-взрослому с матерью, худенькой, в платье-скатерти, взгромоздившись на нее на одной из их узких высоких кроватей. Здесь, в присутствии этих супругов, которые не приходились мне родителями и жили в мире куда более сложном, чем мой, я чувствовала себя тупой растяпой. Я назвала Фэнни «милочкой», хотя совсем этого не хотела. Меня притягивала не она, а ее отец, человек, который ел грецкие орехи и читал студентам отрывки из Джойса.

– До скорого! – крикнули Каслманы и ушли, оставив меня со списком важных номеров, бутылочками и чистыми подгузниками. – Пока! – пропели они, вышли в темноту и направились на вечеринку для преподавательского состава.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.